

Основная часть

Глава 1

Определения анархизма и его предшественники

Термин «анархизм» происходит от греческого слова *anarkhia*, означающего «против власти» или «без правителя», и использовалось в этом узком смысле до 1840 года, пока Пьер Жозеф Прудон не употребил его для описания своей политической и социальной идеологии. Прудон доказывал, что организация без правительства не только возможна, но и желательна. В эволюции политических идей в анархизме можно видеть крайнюю проекцию как либерализма, так и социализма, а различные направления анархистской мысли могут оказаться ближе одному из этих политических учений в зависимости от того, как расставлены акценты.

Исторически анархизм возник не только как объяснение пропасти, разделяющей богатых и бедных в любом обществе, и причин, по которым бедные были обязаны бороться за свою долю общественных благ, но и как радикальный ответ на вопрос «что же сделано не так?», который встал при подведении итогов Французской революции. Она закончилась не только царством террора и появлением нового богатого правящего сословия, но и пришествием обожаемого императора Наполеона Бонапарта, важно вышагивающего по завоеванным землям.

Анархисты и их предшественники были единственными «левыми», утверждавшими, что рабочие и крестьяне, ухватившиеся за появившуюся возможность положить конец столетиям эксплуатации и тирании, не могли не быть обмануты новым классом политиканов, которые первым делом восстанавливали централизованную государственную власть. После каждой революционной вспышки, оплаченной страданиями и бедствиями простого народа, новые правители без зазрения совести применяли насилие и террор, заводили тайную полицию и профессиональную армию для удержания своей власти.

Для анархистов государство как таковое — враг, и они аналогично интерпретировали результаты каждой революции XIX и XX веков. Все это происходит не только потому, что каждое государство настороженно относится к диссидентам, иногда даже карает их, но и потому, что каждое государство защищает привилегии сильных мира сего.

Более столетия основным направлением анархистской пропаганды являлся анархо-коммунизм, настаивавший, что собственность на землю, природные ресурсы и средства

производства должны быть поставлены под взаимный контроль местных общин, объединенных на федеративных началах для решения разнообразных задач совместно с другими общинами. Он отличается от государственного социализма тем, что отвергает любое представление о централизованной власти. Некоторые анархисты предпочитают разграничивать анархо-коммунизм и коллективистский анархизм, акцентируя внимание на свободе личности либо семьи пользоваться ресурсами, необходимыми для жизни, которая вовсе не означает право собственности на средства, необходимые другим.

Анархо-синдикализм придает особое значение организованным индустриальным рабочим, которые могут через «всеобщую забастовку» экспроприировать владельцев капитала и таким образом обеспечить трудящимся овладение промышленностью и управлением.

Существует (что совсем не удивительно) несколько традиций индивидуалистского анархизма, одна из которых берет свое начало от «разумного эгоизма» немецкого писателя Макса Штирнера (1806 — 1856), а другие — от идей выдающейся плеяды американских мыслителей XIX века, доказывавших, что, защищая свою собственную автономию и для общей пользы объединяясь с другими людьми, мы создаем наиболее благоприятные условия для развития. Эти мыслители отличаются от либеральных идеологов свободного рынка абсолютным недоверием к американскому типу капитализма и акцентированием мутуализма — взаимовыгодного сотрудничества. В прошедшем XX веке слово «либертарианец», использовавшееся сторонниками этой точки зрения в качестве альтернативы слову «анархист», было заимствовано новой группой американских мыслителей, о которых говорится в седьмой главе.

Пацифистский анархизм происходит как от антимилитаризма, сопровождаемого отказом от государства с его опорой на вооруженные силы, так и от убеждения, что любое морально жизнеспособное человеческое общество зависит от свободной от насилия доброй воли его представителей.

Эти и другие направления анархистской мысли имеют различные характерные особенности. Их всех связывает неприятие внешней власти: государства, работодателей, административной иерархии, общественных институтов, таких как школа или церковь. Это справедливо и для многих недавно появившихся вариаций анархистской идеологии, например, «зеленого» анархизма и анархо-феминизма. Как и те, кто думает, что освобождение животных от эксплуатации человеком является необходимым аспектом человеческой свободы, они провозглашают, что только идеология, согласующаяся с их целями, является подлинным анархизмом.

Анархистскую традицию принято связывать с четырьмя наиболее выдающимися мыслителями и писателями. Первым был Уильям Годвин (1756 — 1836), который в своем «Исследовании о политической справедливости», опубликованном в 1793 году, изложил доводы анархизма против правительства, законов, собственности и институтов государства. Он был супругом писательницы Мэри Уолстон-крафт, отцом Мэри Шелли и преемником английской традиции радикального нонконформизма и французского Просвещения. Книга сразу же принесла ему известность, вскоре сменившемуся пренебрежительным и враждебным отношением, обусловленным политическим климатом начала XIX века. Ее

продолжали читать в радикальных кругах, пока она вновь не была открыта для себя анархистским движением 1890-х годов.

Вторым из этих первопроходцев был Пьер Жозеф Прудон (1809 — 1865) — французский идеолог, первым назвавшийся анархистом. Он прославился в 1840 году трактатом «Что такое собственность?», где провозгласил, что «собственность — это кража», но также и утверждал, что «собственность — это свобода». Прудон не усматривал никакого противоречия между этими двумя лозунгами, так как первый относился к землевладельцам и капиталистам, собственность которых приобретена путем захвата или эксплуатации и поддерживается только с помощью государства, его законов, полиции и армии, второй же касался семей крестьян или ремесленников с их естественным правом на жилище, на землю, которую они могли бы обрабатывать, и на инструменты для ремесла, но не на владение или распоряжение домами, землей или средствами к существованию других людей. Прудона критиковали за желание законсервировать убогий мир крестьянских и ремесленнических общин, в ответ на что он рисовал картину процветающей федерации.

Третьим из классиков анархизма был русский революционер Михаил Бакунин (1814 — 1876), известный спорами с Марксом в Первом интернационале в 1870-х годах, в которых с замечательной точностью предсказал итоги марксистских диктатур XX века. «Свобода без социализма, — говорил он, — это привилегии и несправедливость, но социализм без свободы — это рабство и жестокость». Детальная разработка этого тезиса изложена в бесчисленных книгах, изданных со времени крушения Советского Союза и режимов, навязанных странам-сателлитам. Весьма показательным в этом отношении письмо Бакунина 1872 года, в котором он отмечал:

«Я верю, что г-н Маркс очень серьезный, если не очень честный, революционер и что он действительно способствует восстанию масс. Я удивляюсь, как он умудрился упустить из виду тот факт, что утверждение универсальной диктатуры, коллективной или индивидуальной, диктатуры, которая создаст должность, так сказать, главного инженера мировой революции, руководящего революционной деятельностью масс и контролирующего ее во всех странах как машину, которой можно управлять, — утверждения такой диктатуры достаточно, чтобы убить революцию, извратить и парализовать все народные движения...»

Самым поздним из этих ключевых для истории анархизма мыслителей был еще один (причем аристократического происхождения) русский — Петр Кропоткин (1842 — 1921). Свою репутацию он составил сначала на географическом поприще, а затем книгами и памфлетами, написанными им для того, чтобы подвести под анархизм научную базу. Его произведение «Хлеб и воля» (1892) было руководством к самоорганизации послереволюционного общества. «Взаимная помощь как фактор эволюции» (1902) была написана в противовес неверным истолкованиям дарвинизма, оправдывавшим конкурентный капитализм, и демонстрировала на примерах, взятых из наблюдений за животными и человеческими сообществами, что внутривидовая конкуренция служит выживанию гораздо меньше, чем кооперация. «Поля, фабрики и мастерские» (1899) — так называется трактат Кропоткина о гуманизации труда через интеграцию промышленности и сельского хозяйства, интеллектуальной и физической работы, теоретического и прикладного образования. Самый читаемый в мире из всех анархистских авторов, он

связывает анархизм с более поздними идеями социальной экологии и с повседневным опытом.

Иные адепты анархизма не согласились бы с тем, что это учение должно ассоциироваться только с этими наиболее известными авторами. Они указали бы на то, что везде в мире, где возникают анархистские идеи, есть местный политический деятель (пусть даже вынужденный конспирироваться, чтобы получить доступ к печати), имеющий представление о том, что в каждом восстании угнетенных есть скрытые анархистские тенденции, и вдохновляемый идеями относительно применения анархистских решений к отдельным спорным вопросам. Так указывается путь, с помощью которого можно выявить анархистские устремления в античных восстаниях рабов, в крестьянских войнах средневековой Европы, у диггеров в Английской революции 1640-х годов, во французских революциях 1789 и 1848 годов и в Парижской коммуне 1871 года. В XX веке анархизм сыграл свою роль в мексиканской революции 1911 года, в русской революции 1917 года и — наиболее заметную — в испанской революции, за которой последовал мятеж и гражданская война 1936 — 1939 годов. О значительном вкладе, внесенном анархистами в эти революционные перевороты, будет рассказано в следующих главах.

Во всех вышеперечисленных событиях анархисты прославились как героические неудачники. Но не все они похожи на стереотип поборников некой последней революции, преуспевающей там, где все остальные неминуемо терпят поражение, и знаменующей собой начало Утопии. Немецкий анархист Густав Ландауэр заявляет:

«Государство не есть что-то такое, что может быть разрушено революцией. Государство — это состояние, некое взаимоотношение между людьми, образ человеческого поведения; мы можем уничтожить его, только создав другую взаимосвязь, ведя себя по-другому».

Кроме того, пусть даже анархисты и не смогли преобразовать общество в соответствии со своей верой, но ведь это справедливо и в отношении приверженцев любой другой идеологии прошлого века, будь то социалистическая или коммунистическая. Но, как я подчеркиваю в восьмой главе, они внесли вклад в длинную череду маленьких завоеваний свободы, облегчивших громадное бремя человеческой скорби.

Анархизм проявляет неизменную жизнестойкость. В каждом европейском, североамериканском, латиноамериканском и азиатском обществе есть анархистские публицисты, журналисты, кружки сторонников, заключенные в тюрьму активисты и мученики. Всякий раз после краха очередного авторитарного и репрессивного политического режима выступает анархистское меньшинство, убеждающее своих сограждан усвоить уроки жестокости и безответственности властей.

Анархистская печать возникала заново в Германии после Гитлера, в Италии после Муссолини, в Испании после Франко, в Португалии после Салазара, в Аргентине после военной хунты и в России после 70 лет ее жесткого подавления. Для анархистов это показатель того, что идеал самоорганизующегося общества, основанного в большей степени на добровольном сотрудничестве, чем на насилии, непобедим. Этот идеал представляет собой универсальное человеческое устремление. Его универсальность

подтверждается тем, что неевропейские культуры заимствуют западные анархистские идеи и концепции и связывают их со своими национальными традициями и мыслителями.

В Японию анархистские идеи занес Котуку Сюсуй (1871 — 1911) в самые первые годы XX века. Он прочитал произведения Кропоткина в тюрьме во время Русско-японской войны 1904 — 1905 годов. После освобождения он посетил Калифорнию, войдя в контакт с организацией «Индустриальные рабочие мира» (ИРМ), и возвратился в Японию, чтобы издавать антимилитаристский журнал *Heimen*. Котуку предположил, что в японской жизни всегда была скрытая тенденция к анархизму, берущая свое начало от буддизма и даосизма. Он был одним из двенадцати анархистов, казненных по обвинению в заговоре против императора Мэйдзи. Всю первую половину XX века плеяда его преемников вела пропаганду и инспирировала забастовки против милитаризма и была раздавлена властью, чтобы возродиться уже после кошмара Второй мировой войны.

Китайский анархизм возник примерно в то же время, что и японский, под влиянием студентов, обучавшихся в Токио или Париже. Те, кто учился в Японии, пребывали под впечатлением от Котуку Сюсуя и подчеркивали связи анархизма с коренным течением китайской жизни. Как объясняет Питер Маршалл:

«Современный анархизм поддерживается не только сельским даосизмом, но также издавна запечатлен в идее царства умеренности и равноправия, вдохновлявшей крестьянские восстания на протяжении всей китайской истории. Кроме того, он сыграл на струнах двух традиционных представлений о легендарном золотом веке социального равенства и гармонии и системе общинного землевладения».

Тех юных китайцев, которые учились в Париже, прельстили как произведения Бакунина и Кропоткина, так и теория эволюции Дарвина. Они отказались от попыток связать анархизм с даосизмом Лао-цзы и с сельскохозяйственной историей. С падением Маньчжурской династии в 1911 году обе анархистские группировки поняли, что их час пробил. Но на самом деле в бурной истории Китая XX века со временем победила другая революционная идеология — марксизм-ленинизм. И, как мы увидим во второй главе, политические программы, навязанные силой китайцам, оказались диктаторской пародией на устремления анархистов.

В Корее также была анархистская традиция, связанная с надеждами на крестьянский коммунизм. Во время 35-летней японской оккупации, которой яростно сопротивлялись анархисты, сложилась их репутация патриотов своей страны, где на севере установилась марксистская диктатура, в то время юг стал моделью капитализма американского типа.

В Индии первой половины XX века в истории борьбы за освобождение от английского господства ведущую роль сыграл Мохандас Карамчанд Ганди (1869 — 1948), создавший (частично из анархистских источников) единственную в своем роде идеологию «ненасильственного сопротивления» и крестьянского социализма и связавший их с индийскими традициями. Он развил политику «непротivления злу насилием» Толстого, заимствовал философию гражданского неповиновения у Торо и после внимательного прочтения — программу Кропоткина, предусматривавшую существование

децентрализованных и автономных крестьянских общин, связывающих сельское хозяйство с местной промышленностью. После достижения независимости политические преемники Ганди чтят его память, но оставили без внимания его идеи. Позднее в том же XX веке движение «Сарвадайя» Винобы Бхаве (1895 — 1982) предприняло попытку бескровной «идущей от земли» революции, отрицая политику центрального правительства.

В Африке Сэм Мба (Sam Mbat) и Иджеривэй (I. E. Iga-riwey), авторы исследования о крушении государственного социализма, навязанного властями, обращают внимание на свойственную, по-видимому, данной земле проблему этнических конфликтов; на длительную политическую и экономическую изоляцию Африки в мире; на чудовищную нищету примерно 90% африканского населения и продолжающийся упадок национальных государств во многих частях Африки... Ввиду данных проблем возвращение к анархистским элементам в африканском принципе общинной организации общества фактически неизбежно. Цель самоуправляющегося общества, возникшего помимо сознательного решения его членов и лишённого авторитарного контроля и единообразия, как привлекательна, так и достижима в долгосрочном периоде.

Возможно, читатель удивляется, почему, если идеи и стремления, похожие на анархистские, можно проследить у столь многих культур во всем мире, сама концепция с удивительной постоянностью остается непонятой или представляется в искаженном виде. Ответ может быть найден в небольшом эпизоде истории анархизма.

Век назад был период, когда анархистское меньшинство, как позднее и другие группировки иных политических направлений, поверили, что убийство монархов, принцев и президентов ускорит народную революцию. К сожалению наиболее достойные цели — Муссолини, Франко, Гитлер или Сталин — были защищены слишком хорошо, так что в деле перелома хода истории и избавления мира от тиранов анархисты оказались менее удачливы, чем большинство последующих политических убийц. Но остался карикатурный образ типичного анархиста — бородача с круглыми фитильными бомбами, — что и явилось еще одним препятствием для серьезной дискуссии об их подходах. Между тем современный политический терроризм различных масштабов является либо монополией властей (и тогда он направлен на гражданское население), либо средством борьбы, которое все мы связываем с религиозным или национальным сепаратизмом, причем оба случая очень далеки от устремлений анархистов.

В статье «Анархизм», написанной в 1905 году для одиннадцатого издания «Британской энциклопедии», Кропоткин начал с объяснения, что это «определение, данное жизненному принципу или теории и поведению, в соответствии с которыми общество задумано лишённым власти. Гармония в таком обществе достигается не подчинением законам или покорностью властям, а посредством соглашения, заключенного между различными территориальными и профессиональными группами, общинами, свободно учреждаемыми как для производства и потребления, так и для удовлетворения бесконечного многообразия нужд и стремлений цивилизованного человека».

В этом определении подразумевается неизбежность компромисса, обыденный аспект политики, оказавшийся затруднительным для анархистов именно потому, что их идеология

не позволяла использовать обычные пути для приобретения политического влияния.

Глава 2

Революционные моменты в истории анархизма

Говорят, что во время революционных восстаний, охвативших Европу в 1848 году, префект полиции Парижа заметил по поводу Михаила Бакунина: «Что за человек! В первый день революции он истинное сокровище, но уже на следующий день его следует расстрелять». Это высказывание характеризует роль и судьбу анархистов и их предтеч в ряде европейских народных восстаний.

Летописцы всех политических движений неизменно указывают корни таковых в прошлом. Анархисты видели своих предшественников среди восставших рабов Рима и во всех последующих волнениях угнетенных. Они также узнали своих предвестников в мятежных английских крестьянах 1391 года, в богемских таборитах 1493 года и в анабаптистах веком позже.

Анархистские элементы в Английской революции, в 1649 году отправившей на плаху короля, символизировались диггерами, рантерами и левеллерами. Они, поспособствовав победе Кромвеля, были названы одним памфлетистом «вращенными Швейцарией анархистами» и вскоре были устранены, как только упрочилась власть лорда-протектора (как оказалось, только для облегчения реставрации). Но люди, рискнувшие возвратить короля, этим открыли путь еще более радикальным взглядам на взаимоотношения личности, общества и государства. Американская и Французская революции следующего столетия принесли свежие идеи, красноречиво описанные в «Здравом смысле» Томаса Пейна 1776 года:

«Общество в любом своем состоянии есть благо, правительство же и самое лучшее есть лишь необходимое зло, а в худшем случае — зло нестерпимое; ибо, когда мы страдаем или сносим от правительства те же невзгоды, какие можно было бы ожидать в стране без правительства, несчастья наши усугубляются сознанием того, что причины наших страданий созданы нами. Правительство, подобно одеждам, означает утраченное целомудрие: царские дворцы воздвигнуты на развалинах райских беседок».

Политические идеи пересекали Атлантический океан в XVIII веке почти так же быстро, как и в нынешнем, и Американская революция сделала неизбежной Французскую. Джефферсон, Пейн, Франклин сыграли роль в обеих, и в то же самое время Уильям Годвин в своем «Исследовании о политической справедливости» излагал анархистские доводы, начиная с самых первых принципов. Между тем ряд отважных противников нового французского государства, группировавшихся вокруг Жака Ру и Жана Варле и известных как «бешеные», пошли против новых правителей. Варле, который пережил Террор, отметил:

«Деспотизм перенесся из королевских дворцов в круг членов комитета. Королей ненавидят не за мантии, скипетры, короны, а за амбиции и тиранию. В моей стране произошла просто смена платья».

Вновь анархизм проявил себя в европейских революциях 1848 года. В следующем после поражения революции году Бакунин был заключен в тюрьму в Дрездене, приговорен к смерти, однако через год передан властям Австрии, в свою очередь выдавшей его Российской империи. После шести лет, проведенных в Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге, он был сослан в Сибирь, откуда через Японию, Сан-Франциско и Нью-Йорк бежал в Лондон. После Франко-прусской войны 1870 года федералистские идеи Прудона послужили образцом для недолго просуществовавшей Парижской коммуны и для ее «Декларации к французскому народу» от 19 апреля 1871 года, убеждавшей:

«Абсолютная автономия Коммуны распространится на все районы Франции, обеспечивая любому его неотъемлемые права и каждому французу — полное осуществление всех его способностей как человека, гражданина и трудящегося. Автономия Коммуны будет в своих границах точно такой же, как и автономии всех остальных общин, придерживающихся договора; их объединение должно гарантировать свободу Франции».

(Нет нужды говорить, что, хотя в Коммуну входила вызывающая героическая анархистка Луиза Мишель, права французских женщин «Декларацией» игнорировались.)

В большинстве революций XX века можно обнаружить вполне различимые элементы анархизма, но после каждой из них анархисты становились жертвами новых правителей. В Мексике Рикардо Флорес Магон и его братья начали в 1900 году издавать анархо-синдикалистскую газету «Возрождение», оппозиционную диктатору Порфирио Диасу, и перебрались через границу в Калифорнию, когда выпускать газету стало слишком трудно. После свержения Диаса Магон вступил в контакт с крестьянским революционером Эмилиано Сапата в штате Морелос на юге, борясь против попыток крупных землевладельцев присвоить участки бедных крестьян. Говорят, что Магон просвещал Сапату, читая и обсуждая с ним «Хлеб и волю» Кропоткина. Сапата попал в засаду и был убит в 1919 году, в то время как Магон был приговорен к лишению свободы в Соединенных Штатах и погиб в Ливенвортской тюрьме. Интересно, что оба этих человека отмечены в Ротонде прославленных людей в Мехико. Сапатистская армия национального освобождения ~ современное мексиканское воплощение политики Сапаты, равно как и Движение безземельных сельскохозяйственных рабочих в Бразилии. Они представляют собой кампании лишенных собственности крестьян за общинный контроль над землями, захваченными в огромных масштабах владельцами скотоводческих ранчо.

В русской революции 1917 года в России захват власти большевиками сопровождался анархистскими лозунгами «Хлеб и свобода!» и «Вся власть Советам!», которые оказались очень далеки от повседневной практики нового режима. Героем-анархистом той революции был украинский крестьянин Нестор Махно, возглавивший захват земли крестьянами и защищавший их как от большевиков, так и от белых. В страну возвращались эмигранты, среди которых были Эмма Гольдман и Александр Беркман, высланные из США, и Кропоткин, вынужденно проживший сорок лет за границей. Кропоткин посылал Ленину

критические письма и написал «Письмо к рабочим Западной Европы» со своей интерпретацией уроков русской революции. Его похороны оказались для анархистов последней возможностью встретиться на свободе вплоть до освобождения из сталинских концлагерей после 1956 года.

Гольдман и Беркман, уже покинув Советскую Россию, пытались рассказать правду о ней, но столкнулись с осуждением «контрреволюционного» заявления со стороны левых кругов. Такое же неприятие со стороны левых встретили и другие попытки анархистов раскрыть истинное положение дел в Советском Союзе, несмотря на то что экспансия сталинизма подорвала единство рабочих организаций на Западе.

Анархистская традиция в Италии началась с переселения туда в 1863 году Бакунина, которого рекомендовали своим товарищам-революционерам Гарибальди и Мадзини, пусть даже он критиковал их национализм с позиций общинного автономизма и федерализма. К этому периоду жизни Бакунина относится и его полемика с Марксом, в ходе которой он безошибочно и однозначно предсказал эволюцию марксистской диктатуры в XX веке. Его ученик Эррико Малатеста, умерший под домашним арестом во время правления Муссолини, положил начало развитию анархистской идеологии в Италии и Латинской Америке, различные ветви которой существуют по сей день.

На Дальнем Востоке привычка посылать молодых людей из богатых семей для продолжения обучения в Европу обернулась появлением революционного студенчества, вывезшего из Парижа в Китай анархистские идеи Кропоткина, изложенные в книгах «Хлеб и воля», «Взаимная помощь как фактор эволюции» и особенно «Поля, фабрики и мастерские». Многие из поворотных пунктов политического курса Коммунистической партии Китая в 1950-е и 1960-е годы имеют вполне различные связи с программой Кропоткина, хотя в этом случае, безусловно, они реализовывались с полным безразличием к человеческим страданиям. Выдающийся писатель-романист Ба Цзинь (Ли Фэйгань) почитал Эмму Гольдман как свою «духовную мать», а свой псевдоним составил из слогов, взятых из фамилий Бакунина и Кропоткина. Само собой разумеется, что он неоднократно подвергался «перевоспитанию» и последний раз арестовывался в 1989 году (в возрасте 84 лет) за участие в демонстрации на площади Тяньаньмэнь.

Но страной, где анархизм пустил корни глубже, чем где бы то ни было, оказалась Испания, в которой в 1930 году были две периодически выходившие из подполья массовые анархо-синдикалистские профсоюзы: Национальная конфедерация труда (НКТ) и Федерация анархистов Иберии (ФАИ). Революция 19 июля 1936 года еще раз обнаружила пропасть между оценкой, которую дают событиям анархисты, и взглядами более влиятельных людей.

К 18 июля 1936 года Испания уже повидала три правительства-однодневки Народного фронта, в котором не могли договориться о том, как противостоять вооруженному мятежу генералов в Марокко, грозившему перекинуться на континент. Между тем члены НКТ в некоторых городах и регионах не только захватывали оружие военных гарнизонов и гражданской гвардии, но и устанавливали контроль над фабриками, транспортом и землей. Следующий день стал не только началом войны против Франко, но и днем народной революции.

Франко получал помощь оружием, живой силой и бомбардировочной авиацией от фашистской Италии и нацистской Германии, а политика невмешательства, проводимая Англией и Францией, затруднила снабжение антифранкистских сил оружием, которое поставлял им Советский Союз (в обмен на испанский золотой запас). В дальнейшем за советскую помощь была уплачена еще более высокая цена.

Международная политика Сталина требовала принесения испанской революции в жертву концепции Народного фронта. В попытке противостоять росту советского влияния анархистские и синдикалистские активисты вошли в состав правительства Каталонии и центрального правительства в Мадриде.

Война в Испании пришла к своему безрадостному концу в апреле 1939 года после безмерных человеческих потерь. В августе того же года был подписан Пакт о ненападении между Сталиным и Гитлером, а в сентябре началась Вторая мировая война. Режим Франко в Испании просуществовал до смерти диктатора в 1975 году. Крах оппозиции вызвал вакханалию мести тем, кто осмеливался противостоять Франко. Точное число казненных неизвестно, тюрьмы были переполнены. Миллионы испанцев провели жизнь в изгнании.

С точки зрения анархистов, Испания продемонстрировала ужасные парадоксы. Коллективизация сельского хозяйства и промышленного производства дала жизненный и вдохновляющий пример реализации идей Кропоткина о рабочем контроле. В тех районах, которые не контролировались армией Франко, происходило масштабное перераспределение земли. Испания была преимущественно аграрной страной, где 67% угодий принадлежали двум процентам крупных землевладельцев. В то же время многие мелкие хозяйства неспособны были даже прокормить семью. Джеральд Бреннан в своей классической книге «Испанский лабиринт» утверждает, «что единственным разумным решением проблемы освоения целины в Испании могло быть только коллективное хозяйствование».

Подсчитано, что в 1936 году в районах Испании, свободных от войск Франко, в коммунах проживали около трех миллионов мужчин, женщин и детей. Наблюдатели того времени также сообщали о реорганизации коммунальных услуг, транспорта, телефона, газо- и электроснабжения в Барселоне.

Американский философ языка Ноам Хомский вспоминает, что об этих достижениях он еще ребенком в Нью-Йорке читал на идиш в анархистском журнале «Голос свободного рабочего». Его память запечатлела репортаж о нищем испанском местечке Мембрильса, в жалких лачугах которого восемь тысяч людей обитали «без газет, без кино, без кафе и библиотеки». Но его жители делились друг с другом едой, одеждой, орудиями труда и принимали у себя большое число беженцев. «Это было, тем не менее, общество не богатства, а бедности...Мембрильса, может быть, самая нищая деревня в Испании, но она и самая справедливая». Хомский комментирует это следующим образом:

«Подобные сообщения, с их акцентированием человеческих отношений и идеалов справедливого общества, могут показаться странными сознанию искушенного интеллектуала, и поэтому к ним относятся с насмешкой или рассматривают как наивные и примитивные или же иррациональные. Только когда это предубеждение будет отброшено,

историки смогут взяться за серьезное изучение народного движения, ввергнувшего республиканскую Испанию в одну из наиболее ярких социальных революций, известных истории».

Сейчас, когда такое изучение ведется, Хомский подчеркивает его значение для будущего, говоря:

«Лично меня прввлекают в анархизме те его тенденции, которые стремятся к пониманию проблем, встающих перед сложноорганизованными индустриальными сообществами в рамках свободных институтов и структур».

Испанский опыт едва ли соответствует последнему замечанию, но события 1936 года в достаточной мере подкрепляют его рассуждения. Достижения почти не были замечены информационными агентствами Западной Европы, за исключением журналистов из числа радикальных анархистов и некоммунистических левыхю Джордж Оруэлл, покинув Испанию, попытался пробить брешь в заговоре молчания книгой «Память Каталонии», но разошлось не более 3000 экземпляров, прежде чем остаток тиража в 1940 году выкупил анархистский книжный магазин. Спустя многие десятилетия ключевой эпизод гражданской войны, почти забытой в самой Испании, послужил сюжетом для фильма Кена Лоуча «Земля и воля» (1995).

В годы изгнания анархисты, пережившие войну и избежавшие мести Франко, без конца спорили о роковом решении лидеров НКТ войти в правительство, чтобы там бороться с советским влиянием. До тех пор любая разновидность анархизма отвергала структуры политической системы, так что решение выглядело компромиссом, принесшим не выгоды, а утрату доверия. Анархисты, исследовавшие предмет, готовы были солидаризироваться с замечанием французского ветерана-анархиста Себастьяна Фора: «Я признаю тот факт, что не всегда можно сделать то, что должно, но мне известно, что есть такие вещи, которые делать ни в коем случае нельзя».

Прошло время, и новые народные восстания воскресили анархистские лозунги, бросив героический вызов монолитной сталинской империи. Подавляемые устремления в 1956 году вырвались на венгерские и польские улицы, в 1968 — на чехословацкие. Они оказались провозвестниками бескровного распада Советского Союза, оплаченного ужасными страданиями тех, кто имел несчастье не угодить его правителям.

Когда рухнули тоталитарные режимы, выжившим анархистам представился удобный случай развернуть черные флаги протеста против нового капитализма, у руля которого стоят все те же старые угнетатели. Анархисты неизменно верны себе, их приоритеты остаются прежними.

Глава 3

Государства, общества и крах

СОЦИАЛИЗМА

Существует подчеркиваемое анархистами жизненно важное различие между обществом и государством. Пусть даже многие политические мыслители им пренебрегали, оно было очевидно Томасу Пейну не меньше, чем ученому XX века, скажем, такому как Исайя Берлин или Дж. Д. Г. Коул. Тем не менее развал советской империи заставил политологов заново открыть гражданское общество.

Философ Мартин Бубер был другом и душеприказчиком немецкого анархиста Густава Ландауэра, замечание которого относительно природы государства как формы человеческого поведения обсуждалось нами в первой главе. Будучи профессором социологии, Бубер провел строгое разделение двух полярных принципов человеческого поведения: политического и социального. Характеристики политического принципа он усматривает в силе, власти, иерархии, господстве, в то время как действие социального принципа видится ему во всех спонтанных связях, складывающихся вокруг общей потребности или общего интереса. Встает задача выявления причины постоянного преобладания политического принципа. Бубер предлагает следующее объяснение:

«То обстоятельство, что каждый человек чувствует угрозу со стороны других, предоставляет государству определенную объединяющую власть. Это зависит от инстинкта самосохранения самого общества. Скрытый внешний кризис дает ему возможность охватить внутренний кризис... Все формы правления имеют что-то общее: каждая владеет большей мощностью, чем ей необходима при данных условиях; фактически это превышение полномочий, заключающихся в наведении порядка, в действительности является тем, что мы понимаем под политической властью. Мера этого превышения... точно представляет собой разницу между администрацией и правительством».

Бубер описывает это превышение, которое, по его словам, не может быть точно измерено, как «политическую избыточность» и отмечает:

«Его обоснование выводится из внешней и внутренней нестабильности, из скрытого состояния кризисов между нациями и внутри них. Политический принцип всегда сильнее по отношению к социальному, чем это необходимо при данных условиях. Результатом является непрерывное сокращение социальной спонтанности».

Спонтанность в обществе высоко ценится анархистами, но не как пункт программы демонтажа британского послевоенного «социального государства» или рекламной кампании благотворности частной инициативы. Про анархистов часто говорят, что их неприязнь к государству исторически устарела с той поры, как главной функцией современного государства стало обеспечение социального благополучия. Они парируют, что социальное благоденствие в Англии наступило не благодаря действиям правительства, принятию после войны законодательства о страховании или учреждению в 1948 году Национальной службы здравоохранения. Оно выросло из обширной сети обществ и организаций взаимопомощи, рожденных в XIX веке инициативой рабочего класса.

Отцом-основателем Национальной службы здравоохранения был тогдашний член парламента от города Тредегар в Южном Уэльсе Анейрин Беван, министр здравоохранения в лейбористском правительстве. В его избирательном округе существовало Медицинское общество Тредегара, основанное в 1840 году и просуществовавшее до 1995 года. Оно предоставляло медицинскую помощь местным наемным рабочим, главным образом шахтерам и сталелитейщикам, но также (не в пример Национальной службе здравоохранения после 1948 года) заботилось о нуждах иждивенцев, детей, стариков, безработных, проживающих в районе, существуя на «многолетние добровольные взносы по три старых пенни с фунта зарплаты шахтеров или сталеваров... Из них оплачивались пять докторов, зубной врач, ортопед и физиотерапевт, чтобы заботиться о здоровье примерно 25~000 человек».

Вышедший на пенсию шахтер рассказал Питеру Хен-несси о том, что, когда Беван создал Национальную службу здравоохранения, они сначала «решили, что он хочет превратить всю страну в один большой Тредегар». На практике эта система здравоохранения с самого момента своего учреждения пребывала в непрерывном процессе реорганизации, но так и не снизошла до внедрения местного или федералистского опыта оказания медицинской помощи. И вот какая еще мысль приходит в голову после знакомства со случаем Тредегара. Когда каждый труженик в городе делал добровольное отчисление на охрану здоровья всех местных жителей, расходы даже высококвалифицированных промышленных рабочих и отдаленно не напоминали обязательств по подоходному налогу. Но с тех пор как во время Второй мировой войны установилась полная занятость и была введена система автоматического вычитания подоходного налога, правительственная казна снимает сливки с тех денег, которыми некогда подпитывались местные инициативы. Если бы тредегарский пример местного налогового самообложения стал образцом для всей системы здравоохранения, эта повседневная неизменная потребность не оказалась бы заложницей финансовой политики центрального правительства.

Анархисты указывают на этот маленький локальный пример альтернативного подхода к делу медицинской помощи, чтобы обратить внимание на то, что социальная организация могла бы развиваться в другом направлении. В английском опыте есть и другой вариант, опробованный в 1930 — 1950-х годах в Южном Лондоне и получивший известность как «Пекхэмский эксперимент»: семейный оздоровительный клуб для занятий плаванием и спортом, оказывавший также медицинскую помощь. Эти и гораздо менее давние попытки изменить взаимоотношения на стыке универсальных общественных потребностей показывают острую необходимость поиска альтернатив двум крайностям: государственной бюрократии с одной стороны и индивидуальному корыстолюбию — с другой.

Век назад Кропоткин отметил бесконечное многообразие «обществ взаимопомощи, тайных братств, деревенских и городских клубов, организованных для оплаты счетов докторов», созданное самопомощью рабочего класса. Во «Взаимной помощи как факторе эволюции» и в более поздней книге «Современная наука и анархизм» он провозглашает, что «экономическое и политическое освобождение человека должно будет создать новые формы их выражения в жизни, взамен учрежденных государством». Кропоткин считал само собой разумеющимся, что «эта новая форма должна будет стать более народной, децентрализованной и близкой к племенному самоуправлению, чем того когда-либо сможет

достигнуть представительное правительство». Он повторял, что мы будем вынуждены найти новые формы организации социальных функций, которые государство выполняет с помощью бюрократии, и что «пока это не сделано, ничего не будет сделано».

Часто высказывается мнение, что в результате современной личностной мобильности и мгновенной коммуникации мы все живем в нескольких глобальных деревнях, следовательно, концепция местного управления местными же услугами устарела. Но здесь следует избегать путаницы между общностью соседства и общностью интересов. Мы можем разделять взгляды людей на противоположной стороне Земли и при этом не знать, как зовут соседей. Но картина меняется на тех этапах нашей личной или семейной истории, когда мы разделяем интересы «пользователей» начальной школы, медицинского центра, местного магазина или почты. Тогда возникает, как подтвердит любой родитель, глубокий интерес к сугубо местным вопросам.

Альтернативные модели общественного контроля над местной системой услуг могли возникнуть вследствие народного разочарования в бюрократическом государственном патронировании. Анархисты верят, что после неизбежного разочарования будет вновь открыта альтернативная концепция социализма, и доказывают, что отождествление общественного благополучия с бюрократическим менеджериализмом на полвека задержало разработку других подходов. Так называемый частный сектор рад взять на себя заботу о здоровье тех граждан, которые могут оплатить его счета. Остальным гражданам придется довольствоваться минимальным набором услуг или заново создавать институты, уже прошедшие испытания в XIX веке. Нынешние анархисты считают свои методы более насущными, чем когда-либо, ожидая нового к ним обращения уже в силу того, что современное общество осознало ограниченность как социалистической, так и капиталистической альтернатив.

В некогда прогремевшей книге «Управленческая революция» Джеймс Вернем проследил переход контроля над крупными компаниями от собственников-акционеров к управляющим. Но другое, менее давнее изменение в принципах управления общественными службами любого рода ощущается, например, в системе образования. Это начало господства профессиональных управленцев, новых неоспоримых специалистов по учреждениям любого вида. Специалисты среднего класса, нашедшие свое призвание, скажем, в общественном здравоохранении, системе охраны окружающей среды, школах, университетах и предприятиях коммунальных услуг, попали в зависимость от того рода управленческого новояза, который использовался для произвола по отношению к рабочим профсоюзам. Владение этим гротескным жаргоном стало необходимым условием для назначения и продвижения на рынке труда, за исключением беднейших организаций с тяжелой монотонной работой, для которых старые претензии по поводу отсутствия стандартов, длительности рабочего дня, низкой заработной платы остаются справедливыми.

Новый менеджериализм имеет настолько непрочные основания и вызывает такое негодование среди людей, гордых своими профессиональными навыками (это верно также в отношении квалифицированных работников, вытесненных глобализацией), что новое поколение защитников демократических прав работников заставило его принять свой вызов. Авторы учебников по менеджменту уже заимствуют язык, если не идеи, анархистов. Для примера

укажем на труды под названиями «Управление без менеджмента» или «Действие и существование: анархизм для делового администрирования».

Кажется, анархические теории неизбежно будут обновляться или изобретаться заново в сферах, о которых никогда не задумывались идеологи, пока люди в самых разных областях человеческой деятельности будут искать альтернативы незавершенности и несправедливости капиталистического свободного рынка и бюрократического административного социализма. Можно различить четыре принципа, на которых должна стоять анархистская теория организаций: они должны быть 1) добровольными, 2) функциональными, 3) временными, 4) маленькими.

Добровольными и функциональными они должны быть по самоочевидным причинам. Нет никакого смысла в защите индивидуальной свободы и пробуждении чувства ответственности, если мы продолжаем устраивать организации с обязательным членством и без четкого предназначения. Нужно помнить о тенденции любого учреждения, исчерпавшего свои функции, к продолжению существования. Следует строго соблюдать ограничение по времени существования, потому что постоянство — это один из факторов, вызывающих склероз артерий любой организации и выдвигающий на первый план выживание структуры или отстаивание интересов собственных служащих, а не лучшее исполнение своих явных функций. Наконец, они должны быть маленькими, так как в таких группах нет простора для развития тенденций к бюрократизации и иерархизации, присущих всем организациям.

Двадцатый век испытал разнообразные модели государственного социализма и позволил сделать вывод, что если правители достаточно беспощадны, то они могут выдать за социализм самый причудливый режим. Социализм вульгаризировался, но и анархизм постоянно страдает от широко распространенного представления о нем как о еще одной разновидности миллениаризма — веры в конечный пункт истории, который будет достигнут «после революции», в период беспримесного счастья, когда будут решены все проблемы, преграждающие дорогу человечеству. В XIX веке анархистская идеология, как и другие вариации социалистической мысли, зачастую подразумевала что-то подобное, но я мало знаю в XX веке анархистов, которые бы с этим согласились. Как показывает трагедия Советского Союза, обещанный земной рай для будущих поколений оплачивается сегодняшними жертвами, о чем задолго до Октябрьской революции (в 1847 году) предупреждал друг Бакунина народник Александр Герцен:

«Если прогресс цель, то для кого мы работаем? Кто этот Молох, который, по мере приближения к нему тружеников, вместо награды пятится и, в утешение изнурённым и обречённым на гибель толпам, которые ему кричат: «Осужденные на смерть приветствуют тебя», только и умеет ответить горькой насмешкой, что после их смерти будет прекрасно на земле. Неужели и вы обрекаете современных людей на жалкую участь кариатид, поддерживающих террасу, на которой когда-нибудь другие будут танцевать... или на то, чтоб быть несчастными работниками, которые по колена в грязи тащат барку с таинственным руном и с смиренной надписью «прогресс в будущем» на флаге? ...цель, бесконечно далекая, — не цель, а, если хотите, уловка; цель должна быть ближе, по крайней мере — заработанная плата или наслаждение в труде. Каждая эпоха, каждое

поколение, каждая жизнь имели, имеют свою полноту, по дороге развиваются новые требования, испытания, новые средства...»

Социализм в XX веке регулярно обещал «прекрасное далёко», да только обещания так и оставались неисполненными, и новым поколениям, как настаивал Герцен, придется наметить собственные, более близкие социальные цели, которые, как надеются анархисты, будут структурироваться вокруг типов социальной организации иначе, нежели государственная машинерия.

Но поскольку часто высказывается убеждение, что анархизм не соответствует масштабам современного общества, для любой попытки построения анархистской теории организации становится жизненно важным понятие федерализма. Анархистские представления о федерализме полностью обсуждаются в девятой главе.

Глава 4

Обесценивание национализма и фундаментализма

Анархисты утверждают, что народная самоорганизация могла бы обеспечить те новые формы социальной организации, которые, как замечает Кропоткин, выполняли бы те социальные функции, которые сейчас осуществляет государство через бюрократию. Тем не менее, когда скептики отвергают анархизм как примитивную идеологию, неадекватную современному миру, поднимаются не только эти вопросы. Есть и другая причина, ведь перед их взором стоят современные национальные государства, они наблюдают враждебность и конкуренцию, возникающую между правительствами. А есть еще и смертельная ненависть между различными группировками на территории, обозначенной как государство, и устрашающий антагонизм, возникающий между приверженцами разных религий. (В особенности можно отметить отравленное наследство европейского империализма, от которого страдают земли, в свое время захваченные и колонизированные мировыми державами.)

Может статься, действительно надо напоминать британцам, французам, бельгийцам, немцам, испанцам, португальцам, итальянцам, голландцам, австрийцам, грекам, туркам, русским и американцам (да и прочим), что сегодня самые трудноразрешимые мировые конфликты являются прямым следствием империалистической политики их бывших правителей, роковым образом очарованных безнаказанностью и легкостью захватов и циничностью девиза «Разделяй и властвуй». Повсеместно люди страдают от результатов деятельности создателей империй, и агрессивность менее всего способствует решению проблем. Ави Шлейм так обрисовал националистские движения:

«Врожденные склонности к экстремизму и ксенофобии, самоуверенность с одной стороны и демонизация врагов — с другой. История, как правило, фальсифицируется или даже

фабрикуется, чтобы служить политической программе националистов».

Трудно представить, как анархисты, с их глубокой неприязнью и к религиозным разногласиям, и к территориальной политике, могут быть вовлечены в эти дразги помимо прямого осуждения империализма. Самоустранение само по себе может быть опасной, хотя и необходимой позицией, и в мире немало примеров того, как фанатики с наибольшей злобой взирают на тех, кто осмеливается на поиск компромисса с людьми по ту сторону баррикад. Мартин Бубер, полвека назад внесший ценный вклад в определение анархизма, в 1921 году предупреждал своего товарища-сиониста, что если иудеи в Палестине не будут жить с арабами вместе и бок о бок, то окажутся живущими во вражде с ними. Когда он умер, авторы некролога заметили, что его защита бинационализма послужила причиной тому, что ортодоксы подвергли Бубера остракизму как «врага народа».

Эти отклики XX века, конечно, не были предугаданы анархистами XIX века. Их классическое положение, что религия — это социальный феномен, содержится в самой известной работе русского анархиста Михаила Бакунина «Бог и государство». В этом фрагменте, написанном в 1871 году, он сокрушается по поводу того, что вера в Бога по сей день жива в сердцах людей, особенно, по его словам, «в сельских районах, где она шире распространена, нежели среди городского пролетариата». Он думал, что религиозная вера стала слишком естественной, поскольку все правительства извлекают для себя пользу из людского невежества как одного из важнейших условий своего могущества: нагруженные работой, лишённые свободного времени и интеллектуального общения, люди искали хоть какого-то облегчения. Бакунин утверждает, что есть три пути избавления от невзгод этой жизни: два иллюзорных и один реальный. Первые два — бутылка и церковь, «развращённость тела или развращённость ума»; третий — социальная революция. Он заявляет, что социальная революция «будет более действенна, чем вся пропаганда вольнодумцев, для разрушения до основания религиозных верований и пагубных привычек людей, гораздо теснее связанных, чем обычно предполагают». Затем Бакунин обрушивается на сильные, господствующие классы, которые, будучи достаточно искушёнными, чтобы довольствоваться верой в самих себя, должны поддерживать видимость собственной набожности, так как вера простых людей — это полезный фактор, облегчающий угнетение последних. Наконец, в этом подробном изложении своих взглядов Бакунин нападает на религиозных идеологов, которые, когда вы подвергаете сомнению абсурдные моменты их учения, будь то отношение к чудесам, непорочное зачатие или воскресение из мертвых, высокомерно объясняют, что в этом следует видеть скорее красивые мифы, нежели буквальные истины, и что мы со своими прозаическими вопросами достойны большего презрения, чем они, выдающие мифологию за правду.

Мнение Бакунина по этому предмету во многом совпадало со взглядами его противника Карла Маркса, одной из самых известных фраз которого была характеристика религии как «опиума народа». Историки идей могут классифицировать либерализм, социализм, коммунизм и анархизм как порождения времени, известного как эпоха Просвещения, как результат «Эпохи Разума», брожения идей и духа сомнения в период между Английской революцией 1640-х годов и Американской и Французской революций 1770-х и 1780-х годов.

Если говорить об Англии, то религиозная терпимость была одним из наиболее медленно и неохотно признаваемых достижений Просвещения. Мы склонны забывать, что в Англии есть государственная церковь, основанная из-за ссоры Генриха VIII с папой римским из-за одного из его многочисленных разводов. Мученики долгой истории подавления инакомыслящих напоминают нам, как нелегка борьба за свободу вероисповедания. До 1858 года сохранялось поражение в правах иудеев, и до 1871 года люди, несогласные с 39 догматами англиканской церкви, не допускались в старинные университеты. Англиканская церковь может быть безразлична большинству англичан, но она является напоминанием о важном социальном и политическом факте. Одним из результатов Просвещения было то, что люди, сочинявшие конституции своих государств, стремились учесть уроки истории и помнить об ужасах религиозных войн, настаивая на абсолютном разделении религиозных практик и светской жизни.

Это верно для отцов-основателей Соединенных Штатов Америки, чьи предки спасались за океаном от религиозных гонений в Европе, это было верно для Французской республики и, следовательно, для стран, с громадными потерями избавившимися от французского империализма. И это справедливо для множества новых республик, появившихся на свет в результате крушения империализма в XX веке. Некоторые ключевые примеры — это Индия, Турция, Египет, Алжир и Израиль.

Сейчас светское государство оказалось под ударом везде в мире. Светским политическим режимам в Северной Африке и на Ближнем Востоке противостоят воинственные религиозные движения, угроза со стороны фундаментализма растет для светской конституции США. Такого не мог предсказать ни Бакунин или Маркс, ни любой другой политический мыслитель XIX века от Алексиса де Токвиля до Джона Стюарта Милля.

Неожиданные и нежеланные изменения в религиозной атмосфере, которые мы называем фундаментализмом, выросли из тенденции «духовного возрождения» в Соединенных Штатах после Первой мировой войны, адепты которого настаивали на буквальном прочтении Библии. Применение этого термина распространилось на описание течений в иудаизме, исламе, индуизме, сикхизме и синтоизме, демонстрирующих, в глазах отстраненных наблюдателей, схожие черты. Они представляют угрозу не только для с трудом утвердившейся концепции светского государства, которую анархисты, может быть, и не считают особенно важной, но для добытых с боем гражданских свобод. Анархист и антиклерикальный пропагандист Николас Вальтер убеждает нас отнестись к этой угрозе со всей серьезностью, подчеркивая, что «ортодоксальные христиане стараются запретить эволюционное учение, контрацепцию и аборты на Западе и в третьем мире. Ортодоксальные иудеи пытаются включить всю Палестину в Израиль и утвердить верховенство Галахи — традиционного религиозного закона. Мусульманские фундаменталисты стремятся установить исламские режимы во всех странах с мусульманским населением, включая Великобританию, и ввести там шариат — традиционное исламское право. Фундаменталисты всех вероисповеданий во всех концах света прибегают к убийствам и террору для подавления свободы и пресечения дискуссий по этим вопросам.»

Это подлинная трагедия как для большинства граждан, любой страны, которые просто заняты повседневными делами, кормят свои семьи и получают удовольствие от радостей жизни, так и для тех, кто стремится делать мир лучше с помощью общинной работы и в борьбе за социальную справедливость.

Давление властей в этой сфере никогда не было действенным. Советский Союз семьдесят лет культивировал недоброжелательное отношение к религиозной деятельности, иногда прибегая к жестоким репрессиям. После падения режима на обломках империи наблюдается небывалое оживление православия и открылась благодатная нива для миссионерской деятельности американских протестантов-евангелистов. О советской Центральной Азии М. Рутвен говорит:

«Местные элиты, воспитанные в мусульманских традициях и оценившие степень сродства исламских и социальных ценностей, мошенничали со своими антирелигиозными мероприятиями так же легко, как и с показателями производства хлопка. Собрания пожилых людей, читавших Коран, для успокоения пропагандистов научного атеизма выдавались за встречи ветеранов Великой Отечественной войны».

В Турции Кемаль Ататюрк, разделявший взгляды Бакунина на религию, железной рукой проводил политическую линию, которую мы могли бы назвать «деисламизацией». Именно угроза возвращения религии мешает его преемникам создать хотя бы видимость демократии. Уже в другое время на смену шаху Ирана — беспощадному европеизатору — пришел фундаменталистский режим, что своевременно никто не смог предсказать. Алжир и Египет раздираемы на части соперничающими светскими и религиозными элитами. Самое сильное политическое лобби в США — Христианская коалиция, чье влияние в Республиканской партии растет.

Это печально и неожиданно для светских анархистов, полагавших, что религиозные войны остались в прошлом, что сейчас следует обратиться к вопросам, скорее объединяющим, чем разделяющим нас. Они могут согласиться с анархистским пропагандистом Рудольфом Рокером. Примерно сотню лет тому назад некоторые противники клерикализма взяли за правило собираться субботним утром у синагоги в Уайтчепеле (Восточный Лондон), ведя себя дерзко и вызывающе. Когда спросили мнение Рокера по поводу этих демонстраций, тот ответил, что место верующих — в храме, а место неверующих — на митинге. Но обстоятельства изменились. То же здание, видевшее, как приходят и уходят многие верования — гугенотская церковь, молитвенный дом, синагога, — теперь мечеть. Умножением числа молящихся теперь обеспокоен не атеист из Бангладеш, а английский расист, грозный и мрачный, желающий вызывать ужас и склонный создавать проблемы.

Если вспоминать, например, о «Бхаратия джаната парти» (Индийская народная партия), отличившейся применением насилия к религиозным, расовым или культурным общностям в тех районах Пенджаба, где прежде все жили в гармонии, то название этой болезни не фундаментализм, а этнический национализм. Это понятие адекватно описывает происходящее и в других регионах Земли, и глубинной причиной таких эксцессов, немалое число которых приходится на исламский мир, мы можем снова усмотреть в унижении и девальвации местной культуры западным империализмом.

Вот диагноз, поставленный Эдвардом Саидом (Культура и империализм. 1993), и в нем много правды.

«Страх и ужас, вызываемые чудовищными образами «терроризма» и «фундаментализма»... помогают подчинить личность господствующим на этот момент нормам. Это одинаково верно и для постколониальных обществ, и для Запада в целом, и для США в частности. Надевая западный характер доверием и надежно защищенной «нормальностью», мы связываем его с честью и добродетелью, но парадокс состоит в том, что движущая нами при этом сила насыщает нас праведным гневом и желанием обороняться, в котором «другие» в конечном счете рассматриваются нами как враги, склонные к разрушению нашей цивилизации и образа жизни.

Страны Ближнего и Среднего Востока веками страдали от того или другого империализма, их культуру высмеивали или относились к ней свысока, и даже их границы проводились по карте европейскими правительствами и бизнесменами. Сегодня к ним проявляют внимание, пропорциональное размерам нефтяных запасов или емкости рынка, а ведь все эти страны располагают огромными арсеналами оружия, которым их завалили во время холодной войны обе противоборствующие стороны. Западная светская религия демонстративного потребления была с готовностью воспринята правителями Среднего Востока, но они не предложили ничего взамен обманутых надежд нищающему большинству своих подданных».

Еще одно меткое наблюдение было сделано марокканским ученым Фатимой Мернисси, когда ее попросили написать предисловие к английскому изданию ее книги «Женщины и ислам»:

«Когда я закончила книгу, то пришла к пониманию одной простой вещи: если для некоторых современных мусульманских мужчин права женщин являются проблемой, то это не из-за Корана, не из-за Пророка, не из-за исламской традиции, а просто потому, что эти права противоречат интересам мужской элиты. Группировка элиты пытается убедить нас в том, что их эгоистическое, крайне субъективное и неоригинальное представление о культуре и обществе опирается на священное основание».

Вместе со всеми другими левыми группировками конца XIX и начала XX века, анархисты рассматривали территориальный и религиозный сепаратизм как неуместный предрассудок, который человеческое сообщество уже переросло. Они бы только выразили надежду, что фанатики потеряют всякий стимул, когда их лидеры признают, что за ними больше никто не идет, поскольку у людей есть более интересные и приятные (или, по крайней мере, не столь опасные для здоровья) способы общения с соседями.

Глава 5

Лишение свободы и освободительная работа

Годы от падения Бастилии в 1789 году, когда на свободу вышли семь человек, до смерти Сталина, после которой из заключения постепенно выпустили миллионы, дали анархистам богатый материал для критики карательной системы. Первая книга Кропоткина «В русских и французских тюрьмах» (1887) была своеобразным отчетом о его впечатлениях; Александр Беркман назвал свою первую книгу «Тюремные воспоминания анархиста».

Именно Кропоткин первым употребил фразу «тюрьмы — это криминальные университеты». Его наблюдения остаются верны по сей день. Первое лишение свободы для любого преступника становится гарантией того, что он, как и его сокамерники, научится в тюрьме целому ряду более изощренных криминальных техник, чем то мелкое воровство, ставшее для него ступенькой к началу тюремной карьеры. В 1886 году Кропоткин заявил, что общество, основанное в большей степени на сотрудничестве, нежели на соперничестве, будет меньше страдать от антиобщественной деятельности. Он доказывал, что *«...народы без политической организации и поэтому менее испорченные, чем мы сами, отлично понимали, что человек, зовущийся преступным, просто несчастен; что исправляют не порка, кандалы, казнь на эшафоте или тюремная камера, а братская забота, обращение, основанное на равенстве, обычаи общежития, принятые среди честных людей»*.

Можно сказать, что больше всего реформе пенитенциарной системы поспособствовало то, что английское и американское правительства во время двух мировых войн отправляли в тюрьму противников войны. Заключение, отказавшиеся от армейской службы и оставшиеся в стороне от бедствий войны, были в массе своей образованными людьми и проницательными наблюдателями. У них также было острое чувство морального превосходства над тюремщиками, так как собственное унижение побуждало их к размышлению о своих добропорядочных согражданах, отправивших их в застенки.

Эти наблюдатели поняли и громко заявили: многие из тех, кто отбывает наказание за мелкое воровство, хулиганство, торговлю наркотиками или пьяный дебош, происходят из среды, которая сделала и сами их преступления, и лишение свободы практически предопределенными. Многие из нас, узнав стоимость содержания индивидуума за решеткой и осознав, что она намного превышает наши доходы, могут от души пожалеть о том, что не придавали значения предупреждениям реформаторов исправительных заведений, призывавших обращать внимание на общие обстоятельства жизни людей, отправляемых в тюрьму. Часто, например, в биографии преступников упоминается детский приют, психическая неуравновешенность или неспособность обучаться. Подавляющее большинство из них мужчины.

Осознание этих обстоятельств стало одним из факторов, послуживших возникновению в конце XIX века в Англии и Америке службы, осуществляющей надзор за условно-освобожденными. Она стала альтернативой тюрьме: на должностное лицо возлагалась задача быть другом и советчиком правонарушителя, чтобы помочь ему вести нормальную трудовую и семейную жизнь. На протяжении XX века происходила постепенная гуманизация карательной системы, вдохновляемая реформаторами, которым довелось на себе испытать в военные годы все прелести заключения. (Причем происходила вопреки привычной оппозиции со стороны персонала исправительных учреждений.)

Тюремное начальство время от времени позволяло специалистам, применяющим различные психотерапевтические техники, ставить свои эксперименты и получать весьма обнадеживающие результаты, которые убеждали сотрудников, что их статус и удовлетворенность работой повысятся, если они будут подходить к ней скорее с позиции терапевта, нежели надзирателя. Многие анархисты были скептически настроены по отношению к этим усилиям цивилизовать пенитенциарную систему, как, впрочем, и пресса, называвшая тюрьмы летними детскими лагерями (в обоих случаях демонстрируя журналистское невежество). В десятилетия, последовавшие за Второй мировой войной, многие страны стали свидетелями неуклонного уменьшения численности тюремного населения. (Совсем другой, однако, была ситуация в Советском Союзе и в странах, на правительства которых он влиял.) Дэвид Кэйли поясняет:

«Нидерланды подают пример: послевоенное соотношение — 90 заключенных на 100000 населения — снижается до поразительного значения — 17 на 100000 в 1975 году... Сокращение доли наказанных лишением свободы осуществлялось мерами, которые голландский криминолог Биллем де Хаан однажды назвал «политикой нечистой совести».

Но с конца 1970-х годов политику нечистой совести заменили иным подходом, описанным криминологом Эндрю Резерфордом как «за решетку с чистой совестью». Известно, насколько трудно интерпретировать криминальную статистику, но статистика исправительных учреждений легкодоступна и рассказывает нам ужасные вещи. Дэвид Кэйли сообщает в 1998 году:

«Благодаря трудам полутора миллионов заключенных американцев только между 1990 и 1995 годами были построены 168 новых тюрем штатов и 45 федеральных тюрем, но этого все еще недостаточно, чтобы принять людей, недавно лишившихся свободы... Соединенные Штаты сейчас подвергают многих граждан, особенно темнокожих и латиноамериканцев, ожесточающему воздействию своих тюрем, поэтому накликанная беда уже дает о себе знать. Чем больше американцев, с которыми жестоко обошлась система уголовного судопроизводства, тем больше их поведение представляется оправданным и требует соответствующего отношения».

К 2000 году тюрьмы Соединенных Штатов вмещали два миллиона преступников. Социолог Дэвид Дауне отметил на конференции в Нью-Йоркском университете, посвященной преступности, что ни одна страна в истории не отправляла большей доли своих граждан в места лишения свободы. Судебная система также обещает, что афроамериканец имеет один шанс из четырех в течение жизни хоть раз попасть в тюрьму, в то время как для белых граждан соотношение — один к двадцати трем. Профессора Даунса спросили, учтет ли Европа американский пример. Он ответил, что «все предпосылки для невероятного роста численности заключенных уже созданы». Так оно и есть, и Англия лидирует в Европе по количеству граждан, лишенных свободы. Альтернативные подходы, проповедуемые анархистами и реформаторами пенитенциарной системы, отвергаются политиками и публикой. Это не заставило сторонников преобразований поменять свою позицию, но вынуждает их дожидаться перемен общественного мнения.

Существует только одна область правонарушения и правоохранения, в которой политика декриминализации приобретает сторонников, что помогло бы значительно сократить население тюрем. Это касается наркоманов и торговцев наркотиками. Все соглашаются, что это дорогостоящий провал. Как отметил Дэвид Кэйли: «Вырастили зло гораздо худшее, чем то, которое предполагалось устранить». Еще один парадокс: многие наркоманы обнаружили, что необходимые им препараты гораздо доступнее в тюрьме, чем на свободе. Здесь заслуживают упоминания предложения анархиста Эррико Малатесты, сделанные задолго до того, как перед нашими родителями или даже бабушками и дедушками встала проблема наркотиков.

«Старая ошибка законодателей, совершаемая вопреки опыту, неизменно показывающему, что законы, какими бы жестокими они ни были, никогда не помогут ни подавить зло, ни пресечь преступления. Чем суровее наказания, наложенные на потребителей и продавцов кокаина, тем притягательнее запретный плод и для наркоманов и тем крупнее прибыль дельцов, жадных до денег.

Поэтому бесполезно надеяться на закон. Мы можем предложить другое решение. Сделать потребление и продажу кокаина свободными от ограничений и открыть киоски, где он бы продавался по себестоимости или даже ниже ее. И затем запустить грандиозную кампанию пропаганды, дабы объяснить общественности, позволив ей увидеть это на примере, сколько от кокаина вреда; никакой контррекламы опасаться не приходится, потому что несчастье наркоманов никак не используешь в рекламных целях.

Конечно, губительное употребление кокаина не сошло бы вовсе на нет, так как социальные причины, создающие наркоманов и подталкивающие этих бедных парней к употреблению наркотиков никуда бы не делись. Но в любом случае вред от наркоторговли сократился бы, потому что никто не смог бы извлекать из продажи прибыль, и никто не стал бы спекулировать на охоте за дельцами. Именно по этой причине наше предложение либо не будет принято во внимание, либо будет сочтено невозможным и безумным. Разве что умные и незаинтересованные люди задумаются: «Раз уж уголовные законы продемонстрировали свое бессилие, отчего бы в порядке эксперимента не испытать анархистский метод?» (Umanita Nova. 1920. 2 сентября).

В двух европейских городах местные власти смело попытались осуществить подобную политику, а в Англии к началу XXI века по меньшей мере два главных констебля выразили подобные взгляды, заслужившие сенсационные заголовки, но снискавшие лишь небольшую практическую поддержку.

Представители крупных партий Великобритании заработали политический капитал речами о причинении преступникам «острого кратковременного шока» или направлении их в лагеря военной подготовки новобранцев. Сам отрывистый и односложный язык этих программ показывает, что замысел состоит не в решении проблемы преступности, а в удовлетворении appetites журналистов — действительных движущих сил пенитенциарной политики. Считают, что успех Республиканской партии на выборах в США связан со способностью представить своих противников «неравнодушными к криминалу».

Между тем среди юных заключенных произоше; всплеск самоубийств, что было расценено скорее как небольшая (хотя и досадная) неприятность, нежели как угроза для общества. Более того, совершенно ясно, что тюрьма не делает ничего, что бы способствовало снижению уровня преступности. Как об этом высказался лорд Уэддингтон, министр внутренних дел при Маргарет Тэтчер «Тюрьма — это очень дорогой путь сделать плохих людей еще хуже». Даже политики не верят в реализуемую ими политику. В этом нет ничего неожиданного, если внимательно изучать статистику. В отчете за 2003 год указывалось, что 84% молодых людей, уже отбывших наказание нарушали закон снова. США наверняка перекрыли бы этот рекорд.

Но проблемы, поднимаемые анархистами и в круп людей, борющихся за реформу исправительной системы не исчезнут, поскольку их нельзя искоренить журналистскими манипуляциями.

Еще один ключевой вопрос, довольно рано прозвучавший в истории анархистского движения, касается отноше; ния к миру труда; актуальным он стал в связи с намерениями пионеров анархизма наладить связи с зарождающимся профсоюзным движением. Они вступили в союз с радикальным крылом тред-юнионизма, пропагандируя анархо-синдикализм (от французского слова *syndicat* — «объединение, союз») и считая любую локальную форму борьбы с промышленниками шагом на пути к всеобщей забастовке, которая вызовет коллапс капиталистической Системы и приведет к торжеству трудящихся.

Всеобщая конфедерация труда (*Confederation Generale diu Travail*) во Франции и Национальная конфедерация труда (*Confederation National del Trabajo*) в Испании выросли в мощные массовые движения, позднее за ними последовали Индустриальные рабочие мира (*Industrial Workers of the World*) в США. Конечно, случались внутренние конфликты между теми членами, которые были готовы бороться и иногда выигрывать маленькие локальные битвы, добиваясь скромных уступок, и активистами, надеявшимися разжечь самый ничтожный спор в финальную забастовку, установить контроль над средствами производства и таким образом «экспроприировать экспроприаторов», сохранив производство под контролем рабочих.

Но утрата цели освободительной работы не устранила противоречия между реформистами и революционерами в рабочем движении в связи с появлением в руках работодателей нового оружия против требований трудящихся: «Соглашайтесь на наши условия, или мы перенесем производство и ваши рабочие места в Юго-Восточную Азию или Латинскую Америку». Собственники капитала остались в богатом мире, а рабочую силу поставляет развивающийся мир, и, если она потребует большую долю производимого продукта, наниматели могут просто отправиться на еще менее избалованный рынок труда в другую страну.

Да и в странах «золотого миллиарда», между прочим, черный рынок труда занимает немалую долю. Сбор и сортировка фруктов и овощей выполняется гастарбайтерами: бригадами незаконных иммигрантов, государственными служащими из Восточной Европы, страдающими от задержек зарплаты в своих странах, студентами и бродягами. Представители самых незащищенных слоев трудящихся занимаются телефонными

опросами, работают в call-центрах на Западе и на Востоке: от глубокой английской провинции до Бангалора в Индии.

Век назад-«новый тред-юнионизм» в Англии и Индустриальные рабочие мира в Америке занялись организацией многочисленных неквалифицированных работников, прозябавших на периферии «официальной» экономики, и стали отстаивать их интересов. И надо сказать, не без успеха. В то же самое время анархист Кропоткин обратился к английской публике, гордо именовавшей Великобританию «мастерской мира», как если бы в тот момент весь мир по-прежнему сохранял зависимость от текстиля из Ланкашира, угля из Ньюкасла и кораблей из устья Клайда. Когда Кропоткин в 1899 году написал «Поля, фабрики и мастерские», среди его намерений было желание продемонстрировать, что, хотя политики и экономисты интересуются преимущественно крупными предприятиями, большая часть товарного производства приходится на мелкие мастерские и небольшие местные предприятия. С появлением электричества и современного транспорта производство децентрализуется, и это, по мнению Кропоткина, не только увеличивает степень свободы при выборе места работы в территориальном смысле, но и в смысле выбора занятия в соответствии с индивидуальными наклонностями. Стало возможным соединение умственного и физического труда, что и было его идеалом для индустрии.

Анархистов редко можно встретить в сжимающемся мире карьерных служащих, будь то крупная промышленность или система государственного управления. Их ниша в неформальной или малой экономике. Это неудивительно, если вспомнить, что специалисты, работающие в области индустриальной психологии, отмечают: удовлетворение от работы напрямую зависит от «нормы автономии», означающее пропорцию рабочих дней или недель, в которые работник вольны принимать собственные решения. В этом постиндустриальном мире труда единственное серьезное намерение мелкого предпринимателя вовсе не состоит в том, чтоб! стать ударником тэтчеризма — он предпочитает творческий бунт против понуждения непременно быть или работодателем, или работником. Пол Томпсон говорит:

«Далекие от того, чтобы принадлежать породе людей исключительной целеустремленности, многие мелкие бизнесмены предпочли быть на особицу. Им не нравилась современная капиталистическая этика, особенно идея «найма»: их моральном-идеалу больше отвечают понятия «служение» и «хорошая работа». Зачастую лишь счастливый случай позволял им найти свое призвание. Более того, они не станут базой для нашей следующей промышленной революции, потому что не хотят расширяться: это означало бы для них принятие на работу новых людей и утрату ценимых ими личностных взаимоотношений с небольшим количеством сотрудников».

Так что хотя ожидания анархо-синдикалистов, планировавших победоносный захват заводов рабочими, не сбылись, но можно согласиться, что устремления анархистов близки мечтам огромного числа граждан, чувствующими себя плененными в ловушке культуры наемной службы.

Глава 6

Свобода в образовании

Редакторы хорошо известной антологии анархистских произведений отметили, что от школьного проспекта, изданного Уильямом Годвином в 1783 году, до книги Пола Гудмана 1964 года *Compulsory Miseducation* («Обязательное плохое образование», англ. — примеч. ред.) «не было другого движения, в своих литературных работах и деятельности уделявшего более значительное внимание образовательным принципам, концепциям, экспериментам и практическим методам». Произведение Годвина было опубликовано под заглавием «Полезьа от школы на двенадцать учеников, которая будет открыта в понедельник 4 августа в Эпсоме в Суррее». Ему не удалось убедить достаточное число родителей, так что школа не открылась. В своей брошюре он заявлял, что *«современное образование не только портит здоровье нашей молодежи жестоким рабством, на которое оно ее обрекает, но и подрывает ее рассудок темным жаргоном... и малым вниманием, уделяемым тому, чтобы согласовать занятия со способностями учеников... В мире нет более достойных жалости существ, чем дети, испуганно вздрагивающие, когда на них посмотрят, тревожно следящие за переменчивым настроением учителя.»*

Более поздняя книга Годвина — «Спрашивающий» (1797) — содержит, как совершенно справедливо замечают его биографы, «несколько выдающихся и передовых идей относительно образования, которые когда-либо заносились на бумагу». Она открывается острым утверждением: «Подлинный объект образования, как и любого другого морального процесса, — поколение несчастных». Эта книга продолжает защищать права детей от автоматического распространения на них власти взрослого мира. Например, автор делает следующее наблюдение:

«Говорят, что дети свободны от мирских забот. Правда? Из всех забот наибольшее утешение приносит стремление к независимости. Нет более верного источника торжества, чем осознание того, что я представляю собой что-то важное для мира. Ребенок же обычно чувствует себя никем. Родители с их избыточной предусмотрительностью хорошо справляются с поддержанием этого горького состояния души. Не замечали, как внезапно ребенок возносится до завидной степени счастья, когда чувствует, что у него есть достоинство, что ему доверяют и с ним советуются старшие?»

В промежутке между этими двумя громкими манифестами была написана его самая известная книга «Исследование о политической справедливости». В этой книге он решительно разошелся с английскими носителями «прогрессивных взглядов» и философами Просвещения — Руссо, Гельвецием, Дидро и Кондорсе, — со всеми, кто предлагал программу создания общенациональной системы образования, постулируя возможность создания идеального государства, что, по мнению Годвина, является несомненным противоречием в понятиях. Он сформулировал три своих главных возражения в таких словах:

«Вред, произошедший от национальной системы обучения, во-первых, в том, что все публичные учреждения включают в себя идею неизменности... государственное

образование затрачивает энергию на поддержку предрассудка... Эта черта проходит через все виды государственных организаций; и даже в незначительном институте воскресных школ основные уроки состоят в том, чтобы необходимо испытывать суеверное благоговение перед англиканской церковью и кланяться каждому человеку в дорогом платье.

Во-вторых, идея общенационального образования основана на невнимании к природе разума. Что бы каждый человек ни делал для себя, это делается хорошо; что ни предпринимается его соседями или страной для него, делается плохо. Наша мудрость заключается в том, чтобы побудить человека действовать для себя, а не держать в состоянии бесконечного несовершенноголетия...

В-третьих, желательно, чтобы проект общенационального образования никогда не был одобрен из-за его очевидной связи с правительством. Этот союз имеет более грозный характер, чем старая и сильно подорванная связь церкви и государства. Прежде чем мы отдадим такую мощную машину во власть столь честолюбивого действующего лица, надлежит хорошо взвесить, что мы делаем. Правительство не преминет использовать ее для усиления своей власти и увековечения своих институтов... Воззрения властей как зачинщиков системы образования будут аналогичны их политическим взглядам ... [Даже] в странах, где торжествует свобода, разумно было бы допустить, что значительные ошибки неизбежны, а национальная система имеет самую непосредственную склонность сохранять эти упущения навечно и формировать умы по единому образцу».

Некоторых позднейших поклонников Годвина смутил его отказ от «прогрессивных взглядов». Они вспоминали тяжелую борьбу за введение свободного, всеобщего, обязательного образования в Англии и в США после 1870 года (Существует сбивающее с толку созвучие образовательной терминологии в Англии и в США. В Соединенных Штатах public school — это начальные и средние школы, находящиеся на государственном содержании. В Англии слова private и public употребляются для описания привилегированных частных средних школ, существующих на деньги обеспеченных родителей; школы, находящиеся в ведении местного самоуправления, именуются «государственными» — state.) В издании, выпущенном в 1970 году честь столетия Национального союза учителей Британии объяснялось, что «в отличие от религиозных и благотворительных школ, начальные школы устраивались по частной инициативе людей, которые часто сами едва знали грамоту», и обсуждение вопроса о причинах широко распространенной в рабочем классе враждебности к школьным советам в XIX веке закрывалось замечанием, что «родители, сталкиваясь с возможностью потери дополнительного дохода, приносимого семье работающими детьми, не всегда могли быстро оценить преимущества дневного школьного обучения».

Но позднейшие историки увидели это сопротивление государственному образованию в совсем другом свете. Стивен Хэмфрис пришел к выводу, что к 1860-м годам в частных школах для рабочего класса (совсем не то, что подразумевается под «частными школами» сейчас) получали альтернативное благотворительному или религиозному образованию примерно каждый третий ребенок из рабочих семей. Он предлагает свою версию:

«Это свидетельство огромного спроса на частные школы в противоположность государственным можно подкрепить тем фактом, что в ряде крупных городов родители из среды рабочего класса отреагировали на введение обязательного обучения не переводом детей в содержащиеся государством школы, как то предполагали правительственные инспекторы, а продлением срока их обучения в частных школах. Родители предпочитали эти школы по ряду причин: маленькие и близкие к дому, они, следовательно, были более индивидуализированы и комфортны, чем большинство устроенных государством школ; неформальный характер допускал терпимость к нерегулярным посещениям и непунктуальности — журнал посещаемости в таких школах не велся; они не разделялись по полу и возрасту; они использовали индивидуальные педагогические методы в противовес авторитарным; и самое, пожалуй, важное — они входили в состав местных сообществ и больше контролировались ими, в отличие от навязанной внешней властью школы».

Замечательное наблюдение Хэмфриса было подтверждено массой свидетельств того времени, добытых Филипом Гарднером для его книги «Утраченные начальные школы викторианской Англии». Этот исследователь сделал вывод, что рабочие школы «добивались именно того, что хотел заказчик: быстрых результатов в базовых навыках, таких как чтение, письмо и арифметика, и не транжирили время на религиозное образование и нравственное совершенствование; в таком виде они действительно представляли образовательную концепцию, альтернативную предписанной специалистами».

С точки зрения историка Пола Томпсона, вытеснение этих школ в пользу национальной системы образования обернулось для бесчисленного множества детей из рабочих семей «подавлением способности к самообучению и желания учиться, которое стремится вновь зажечь в юных душах современное прогрессивное образование».

Преданная забвению историей образования и не преподающаяся студентам, эта концепция помогает нам определить место анархической педагогики в ряду образовательных идей. Она стоит не так далеко от размышлений Льва Толстого над школой, открытой им в Ясной Поляне, и Франциско Феррера (1859 — 1909), основателя движения «Современная школа». Феррер открыл свою первую школу в Барселоне в 1901 году, делая ставку на светское, рационалистическое образование. Он приобрел последователей в нескольких странах и вызвал враждебность церкви. Когда испанское правительство, ведшее войну в Марокко, объявило в 1909 году в Каталонии призыв в армию, Феррер был задержан по обвинению в организации уличных беспорядков в Барселоне (200 демонстрантов были убиты), несмотря на то что его даже не было в городе. Он был казнен, но инициированное им движение за светское образование не погибло. После революции 19 июля 1936 года по меньшей мере 60~000 детей в Каталонии посещали школы Феррера.

Интересно посмотреть, как преломились представления разных анархистов об образовании в проектах прогрессивных идеологов век спустя. Например, Бакунин в примечании к полемическому тексту совсем на другую тему рассматривал школу как пожизненный ресурс каждого из нас:

«Это не будут уже школы, но народные академии, где не будет ни школьников, ни учителей, куда народ будет свободно приходить, чтобы получать, если сочтет нужным, свободное

образование, и где, в свою очередь, богатый опытом, он сможет научить многим вещам учителей, которые принесут ему отсутствующие у него знания. Это будет, следовательно, взаимное обучение, акт интеллектуального братства между образованной молодежью и народом».
(«Бог и государство»).

Он написал это в 1870 году, и если его мысли кажутся знакомыми, то только потому, что те же самые предположения высказывались в следующем веке такими людьми, как Иван Иллич и Пол Гудмэн в США, а также Майкл Янг и профессор Гарри Рэй в Англии. В 1972 году Рэй говорил аудитории, состоявшей из молодых педагогов:

«Я думаю, еще при вашей жизни наступит конец школ в том виде, каковы они сегодня. Вместо них будут местные клубы, открытые двенадцать часов в день и семь дней в неделю, где каждый сможет посидеть в библиотеке и побывать в мастерских, спортзале, магазине самообслуживания или баре. Законом об обязательном посещении школы уготована та же судьба, что и законам об обязательном посещении церкви».

Вряд ли его предсказание сбудется: через десять лет после его выступления пришедшее к власти правительство возложило вину за провалы английской промышленности на школы, сделав из них козлов отпущения. Затем последовал период беспрецедентного вмешательства правительства в управление и учебные планы начальных и средних школ, находящихся в Великобритании в ведении местного самоуправления. Центральное правительство обрушило на школы общенациональный учебный план, программу регулярного тестирования детей по достижении ими определенного возраста и лавину предписаний учителям.

В 1995 году главный инспектор школ Ее Величества объявил, что реальной преградой для развития и совершенствования британской образовательной системы является «приверженность определенным убеждениям в отношении целей образования и управления им». Парадоксальным образом неприятие правыми политиками «прогрессивного» образования сближает их с анархистами. Майкл Смит, историк и автор книги «Либертарианцы и образование», отмечает, что Прудон *«всегда признавал тот факт, что дети, о которых он говорил, были детьми рабочих. Физическому труду предстояло стать содержанием их взрослой жизни. Прудон не усматривал в этом ничего дурного. Труд для человека был делом чести, придающим интерес, ценность и достоинство его жизни. Поэтому верно, что школа должна готовить молодежь к трудовой жизни. Образование, оторванное от мира труда, книжное или классическое, бесполезно для обычного ребенка из рабочей семьи. Конечно, недопустимо впасть в противоположную крайность и готовить из детей материал на потребу заводов и фабрик. Что необходимо, так это образование, которое обеспечит ребенку в будущем рабочее место, но также даст ему некоторую степень независимости на рынке труда. Этого можно достигнуть, закладывая, в учащемся не только профессиональный базис, но обучая широкому набору навыков, востребованных рынком. Последнее гарантировало бы, что человек не попадет в полную зависимость от индустриальной системы, которая завтра может перестать нуждаться в работниках какой-либо специальности и безжалостно избавиться от них. Так Прудон пришел к идее „политехнического“ образования».*

Читатели правы в своей догадке, что Прудона интересовало только образование мальчиков, но это неверно ни для таких его последователей, как Кропоткин, рассчитывавший на сочетание умственного и физического труда не только в образовании, но и в жизни, ни для таких героев, как Франциско Феррер, чьи идеи можно назвать образованием освобождения, противостоящего тому, что он рассматривал как образование подчинения. Наиболее интересные для английского читателя страницы произведения Майкла Смита на примере французского анархиста Поля Робена и сиротского приюта, возглавляемого им с 1880 по 1894 год в Семпюи, описывают применение «интегрального образования» на практике. В его основе лежали обучение в мастерской и отказ от классной комнаты в пользу того, что сейчас мы называем центром учебных пособий (resource centre). Приготовление пищи, рукоделие, плотничное и слесарное дело были предусмотрены для обоих полов, и в то же время «дети Семпюи, и мальчики, и девочки, были в числе первых ребят во Франции, оседлавших велосипед».

Совместное обучение, равенство полов и атеизм сделали Робена знаменитым и его уволили. Иным путем снискал известность французский анархист Себастьян Фор, руководивший школой La Ruche («Улей»). Майкл Смит отмечает: «Фор усвоил один важный урок из краха Робена: следует не иметь никаких дел с государством, сохраняя тем самым абсолютную независимость». В Англии, правда, не прекращались опыты по внедрению либертарианского образования в школьную систему, финансируемую всеми гражданами. Другой историк, Джон Шоттон, проследил историю этих усилий и попыток помочь исключенным из официальной системы детям.

Век прогрессивных экспериментов оказал сильное воздействие на каждую школу (самое очевидное — на начальную). Роль учителя претерпела радикальную трансформацию: из грозного начальника он превратился в дружелюбного проводника, а телесные наказания, некогда главная опора школьной системы, были поставлены вне закона. Тем не менее следует провести различие между «прогрессивным» и «либертарианским» образованием, пробным камнем для чего служит спор о принудительном или добровольном присутствии на уроках. Выдающимся «освободителем» был Александр Сазерленд Нилл, в течение многих десятилетий руководивший школой Саммерхилл в Суффолке, существующей по сей день под руководством его дочери Зои Ридхед. Взгляды Нилла, выразил один из его воспитателей, Гомер Лейн:

«Дать ребенку свободу» — громкий клич Новых Воспитателей, но затем их последователи обычно вырабатывают «систему», которая, несмотря на то что базируется на самом правильном принципе, ограничивает эту свободу и вступает в противоречие с принципом».

Лейн прозвучал эхом Уильяма Годвина, отмечая ошибку Руссо:

«Его система воспитания — это серия трюков, представление театра марионеток, нити от которых держит кукольник, самому же школьнику нипочем не догадаться, каким образом его заставляют двигаться».

Анархистский подход оказался более влиятелен в сфере образования, чем в большинстве других областей жизни. Поклонники авторитарного стиля могут оспаривать или оплакивать

это обстоятельство, тоскуя по идеализированному прошлому, живущему в их памяти, но с трудом можно представить, чтобы в будущем молодые люди потерпели существование того воспитательного режима, который третирует их бабушек и дедушек.

Есть на Земле места, где битва за свободу юности уже в прошлом, есть и такие, где ее еще предстоит вести. О некоторых английских попытках дать молодежи, выброшенной из официальной системы образования, альтернативный опыт будет рассказано в восьмой главе.

Глава 7

Индивидуалистический ответ

В течение столетия анархисты употребляли слово *libertarian* как синонимичное слову *anarchist* (и как прилагательное, и как существительное). Знаменитый анархистский журнал *Le Libertaire* был основан в 1895 году. Это не помешало, однако, тому, что позже термин был присвоен американскими философами свободного рынка — Дэвидом Фридманом, Робертом Нозиком, Мюрреем Ротбардом и Робертом Полом Вольфом. Необходимо исследовать отличие взглядов современного индивидуалиста-либертарианца от канонов анархистской традиции.

На пути к ответу надо преодолеть еще одно препятствие в лице защитника «разумного эгоизма» Макса Штирнера. Его настоящее имя Иоганн Каспар Шмидт (1806 — 1856). Опубликованная им в 1845 году работа *Der Einzige und sein Eigentum* («Единственный и его собственность») была переведена на английский язык в 1907 году под названием *The Ego and his Own*. Я несколько раз приступал к ней, но всякий раз находил ее маловразумительной. Возможно, в какой-то степени меня извиняет то, что культ Я кажется мне таким же неприятным, как и сверхчеловек Ницше, хотя поклонники Штирнера среди анархистов уверяют меня, что его подход совершенно иной. Они доказывают, что «разумный эгоизм» ни коим образом не отвергает человеческую склонность к альтруистическому поведению, потому что собственное наше представление о себе вознаграждается через осознание себя общественными существами. Они также привлекли мое внимание к предвосхищению Штирнером «железного закона олигархии» Роберта Мичелза, описывающего разрушительную тенденцию человеческих институтов к окостенению и превращению в деспотические организации, которым необходимо противостоять во имя индивидуальной свободы.

Гораздо более типичными, нежели Штирнер, для направления индивидуалистского анархизма был целый ряд американских деятелей и новаторов, зачинателей активной анархистской пропаганды среди многочисленных групп иммигрантов — немцев, русских, евреев, шведов, голландцев, итальянцев и испанцев — конца XIX и начала XX века. О них можно прочесть в книгах Джеймса Мартина «Люди против государства» (первое издание вышло в 1953 году) и Дэвида Де Леона «Американец как анархист: размышления о местном радикализме» (1978), излагающих богатую и разнообразную историю индивидуального и общественного анархистского теоретизирования и экспериментирования в США.

Иммигрантская традиция питалась социальной и коллективной предприимчивостью, из которой выросли глубоко укоренившиеся институты благотворительности и организации досуга, а также рабочие союзы, школы и кооперативы. Местная традиция была в гораздо большей степени индивидуалистической, но ее носители располагали действенными средствами воздействия на американскую жизнь. Историки проводят различие между идеологиями «левых» и «правых» либертарианцев. Вот как его формулирует Дэвид Де Леон:

«В то время как правые презирают государство за то, что оно ограничивает свободу собственности, левые либертарианцы осуждают государство за то, что оно собственность защищает».

Первым был Джосая Уоррен (1798 — 1874), который, будучи разочарован неудачей кооперативной колонии «Новая гармония», созданной последователями Роберта Оуэна, открыл в Цинциннати магазин, чьи клиенты покупали товары за «трудовые боны», обещавшие продавцу равноценный продукт или услугу. За этим последовали «деревня справедливости» в Огайо, долго просуществовавшая «мутуалистская» деревня Утопия и община «Новые времена» на Лонг-Айленде, также сохранявшая свой кооперативный характер не менее двадцати лет. Вера Уоррена в важность индивидуального привела его к защите общинных кухонь, чтобы «освободить женщин в семье от тяжелой работы, оставив им ту, к которой они так или иначе безвозвратно предназначены».

Лисандр Спунер (1808 — 1887) мечтал об Америке, где работающие на себя индивиды имеют равный доступ к кредиту. Он провозглашал также, что *«если человек никогда не соглашался поддерживать государство, он и не откажется от убеждения не поддерживать его. И если он ведет войну против государства, то делает это как открытый враг, а не как предатель».*

Стивен Перл Эндрюс (1812 — 1886) подобным же образом признавал, что суверенитет личности неотъемлемо присущ каждому индивиду. Следовательно, как свидетельствует Питер Маршалл, *«он осуждал рабство и надеялся сделать свободным Техас, собрав деньги для выкупа всех рабов в нем, но помешала война с Мексикой. Он также доказывал, что половое поведение и семейная жизнь суть дело личной ответственности и не подлежат контролю церкви и государства».*

Индивидуализм Эндрюса побуждал его, как и Уоррена, приветствовать устройство общинных яслей, детского сада и кооперативных кафетериев, необходимых для освобождения женщин от тягостной рутины.

Бенджамен Р. Таккер (1854 — 1939) был в те дни самым известным из исповедовавших индивидуализм анархистов. Его газета Liberty выходила четверть века, пока в 1907 году его типография в Бостоне не сгорела. Он был также пионером среди переводчиков Прудона и Бакунина.

Но среди американских борцов за свободу XIX века самым оригинальным и запоминающимся был Генри Дэвид Торо (1817 — 1862). Его знаменитая книга «Уолден, или Жизнь в лесу» — это отчет о двух годах, которые он, стремясь к полной самостоятельности, провел в глуши, в

хижине, построенной им собственноручно в Конкорде, штат Массачусетс. Это отнюдь не было разрывом с жизнью Америки человека, который откровенно подрывал государственные устои, заявляя, что естественный враг солдата — его правительство. Один из его очерков, обычно называемый «Долг гражданского неповиновения», но изначально опубликованный под заглавием «Сопrotивление правительству», не привлек в то время внимания, но впоследствии повлиял на Толстого и Ганди (который читал его, сидя в тюрьме в Южной Африке). Мартин Лютер Кинг читал его в Атланте, еще в бытность студентом, и вспоминал:

«Восхищенный идеей отказа сотрудничать с порочной системой, я был так глубоко потрясен, что перечитал работу несколько раз. Это был мой первый интеллектуальный контакт с теорией ненасильственного сопротивления».

Эссе Торо о гражданском неповиновении, к написанию которого его подтолкнуло возмущение затеянной правительством США Мексиканской войной и сохраняющееся рабство негров, предшествовала лекция в лицее Конкорда. В другом случае, когда аболиционист Джон Браун в 1859 году выступил с оружием в руках против Соединенных Штатов и был приговорен к смерти, Торо, несмотря на сопротивление, произнес в ратуше слово «В защиту капитана Джона Брауна». Через десятки лет Хэвлок Эллис отметил, что Торо был «единственным человеком в Америке, осознавшим величие события и во весь голос об этом заявившем».

Еще один выдающийся американский индивидуалист Рэндолф Борн (1886 — 1918), наблюдая за правительственными маневрами, имевшими целью втянуть США в мировую войну, сказал знаменитую фразу: «Война есть здоровье государства». Вот как он это пояснил:

«Государство — это организация толпы для того, чтобы наступать или обороняться против другой толпы, организованной точно таким же образом. Война направляет потоки замыслов и действий, стекающие до самого нижнего уровня толпы... Все усилия сливаются вместе так скоро, как только возможно, стремясь к главной цели создания войска, наступательного или оборонительного, и государство становится тем, чем в мирное время тщетно пыталось бы стать... Безделье прекращается, встречные течения исчезают, и нация двигается, неуклюже и медленно, но с неизменно нарастающей скоростью и сплоченностью, к великой своей цели, к умиротворению в войне...»

Его представление о методах, которыми правительства XX века управляли общественным мнением, нашло достаточное подтверждение сейчас, спустя девяносто лет после написания этих строк. С тех пор американские анархисты-индивидуалисты неоднократно выносили свой протест на улицы, пытаясь воздействовать на политику правительства США. Одним из них был Аммон Хеннеси, чье имя неизменно ассоциируется с «революцией одного человека», упорным индивидуальным протестом против империализма Соединенных Штатов; другой была Дороти Дэй из Движения католических рабочих, в течение многих десятилетий XX века сохранявшая веру в самоорганизованные кооперативные общины (что в политических терминах должно быть описано как анархизм).

Некоторое время спустя, в 1970-х годах, уже ученые, а не активисты предложили другой тип либертарианства в работах «В защиту анархизма» Роберта Пола Вольфа, «Анархия, государство и утопия» Роберта Нозика, «За новую свободу: манифест либертарианства» Мюррея Ротбарда. Эта фаланга авторов создала «идеологическую инфраструктуру» правого поворота федеральной и местной политики в Соединенных Штатах и Великобритании, поставившей цель «отбросить государство назад». Роберт Пол Вольф говорил, что «философский анархизм представляется единственной разумной верой для просвещенного человека». Историк Питер Маршалл указывает, что Роберт Нозик «помог академическим кругам воспринять либертарианскую и анархистскую теорию», что уже явилось немалым достижением. В это же время Дэвид Фридман пропагандировал среди американских читателей тезис Фридриха фон Хайека о том, что законодательство о социальном обеспечении — первый шаг по «Дороге к рабству».

Питер Маршалл считает экономиста Мюррея Ротбарда глубже всех прочих апологетов анархо-капитализма проникшимся актуальной анархистской традицией: Он начинал как крайне правый республиканец, но затем редактировал классическое произведение либертарианства «О добровольном рабстве» Этьена Ла Боэси и сейчас называет себя анархистом.

«Если вы желаете знать, как либертарианцы рассматривают государство и каждое его действие, — пишет он в книге «За новую свободу», — просто подумайте о государстве как о преступной банде, и тогда все их убеждения логично встанут на свои места».

Он выразил все свои либертарианские идеи в одном центральном постулате о том, что «человек или группа людей не должны покушаться на чужую личность или собственность». Поэтому ни государство, ни какая-либо частная группировка не могут прибегать к силе или угрожать ее применением любому индивиду, с какой бы там ни было целью. Свободные личности должны улаживать вопросы и распределять собственность только путем добровольного соглашения, базирующегося на договорных обязательствах.

Ротбард проникся традицией, но не постиг смысла старой поговорки о том, что свобода шуки — смерть для пескаря. Вспомним печальные экономические факты: 10% граждан Соединенных Штатов владеют 85% национального богатства, и это меньшинство людей извлекает выгоду из каждого сокращения социальных бюджетных статей.

Правые либертарианцы выполняют определенную функцию в спектре анархических мнений. Каждый идеолог анархизма сталкивался с тем, как обескураживает аудиторию слушателей или читателей предложение организовать человеческую жизнь без правительства — им трудно представить, как это может выглядеть в действительности. Поэтому Кропоткин, левый либертарианец, настаивал, что анархистские идеологи должны определить новые формы организации тех функций, которые сейчас государство исполняет посредством бюрократического аппарата.

Мюррей Ротбард был одним из основателей Либертарианской партии в Соединенных Штатах, стремившейся, как объясняет Питер Маршалл, упразднить «целиком федеральный управленческий аппарат, равно как и социальное и пенсионное обеспечение,

государственную образовательную систему и налогообложение», и убеждавшей Соединенные Штаты «выйти из ООН, избавиться от международных обязательств и сократить вооруженные силы до размера, достаточного для обороны».

Пока не появится надежда на отмену законов о «преступлениях без жертв», мы не можем рассчитывать на перемены в судебной системе Соединенных Штатов, лишившей сейчас свободы большую долю своего населения, чем любая другая страна, ведущая достоверную статистику. Но во всех иных случаях программа мыслителей нового правого либертарианства представляется куцей. Роберт Пол Вольф, например, в 1998 году при переиздании своей книги «В защиту анархизма» предложил для решения политических и общественно значимых вопросов «создать систему домашних терминалов для голосования», каждый из которых был бы «подключен к телевизионной сети». Тогда, как он утверждает, «социальная справедливость расцветет так, как никогда прежде».

Большинство анархистов усмотрели бы в этом скорее жалкое увиливание от вопросов, поднимаемых критиками американского общества, и предпочли бы обратиться к богатому наследию инакомыслия в Соединенных Штатах, созданному яркими пропагандистами: от Торо (представитель первого поколения) и Эммы Гольдман (второе поколение) до Пола Гудмена, завещавшего своим анархистским преемникам весьма интригующие идеи. В своей последней статье в американской прессе он предложил:

«Для меня главный принцип анархизма даже не свобода, а автономия, то есть возможность самому формулировать задачу и решать по собственному плану. Слабое место «моего» стиля анархизма в том, что если жажда свободы является сильнейшим мотивом для политических преобразований, то автономия — нет. Самостоятельные люди защищают себя решительно, но менее активными средствами, среди которых много форм пассивного сопротивления. Так или иначе, они делают это по своему разумению. В угнетенных вызывает сострадание то, что после освобождения они не знают, что делать. Не побывав самостоятельными, они не знают, на что это похоже, и прежде чем узнают, обретут новых управителей, которых будет не так легко свергнуть...»

Американские индивидуалисты XIX века были заняты созданием общин, кооперативов, альтернативных школ, местных платежных систем и обществ взаимного кредита. Они были активными социальными изобретателями, исследовавшими возможности автономии, подразумевавшей эмансипацию женщин и равенство всех рас. Их опыт, приобретенный в социальном климате Америки, открывает перспективу инверсии принципа Мартина Бубера о соотношении социального и политического. Практика автономии породила опыт, увеличивший вероятность успеха. Или, как это сформулировал американский анархист Дэвид Вик:

«Привычка к прямому действию, возможно, идентичная привычке к свободе, подготавливает к тому, чтобы жить ответственно в свободном обществе».

Американские «либертарианцы» XX века — это скорее ученые, нежели общественные деятели, и вся их изобретательность, похоже, направлена на идеологическое обоснование неограниченного рыночного капитализма.

Глава 8

Тихие революции

Пропась между устремлениями анархистов и действительной историей XX века можно объяснить наивностью несбыточных надежд, но не надо забывать и о провале других левых политических идеологий. Кто из нас не почувствовал глубокого облегчения с падением советского коммунизма, пусть даже у нас не слишком много причин радоваться сменившим его режимам? Когда из лагерей стали постепенно выпускать уцелевших людей, искренние сторонники этой идеологии были вынуждены подвергнуть сомнению свои послышки.

Много лет назад американский журналист Дуайт Мак-Дональд написал статью «Политика прошлого», включавшую большое примечание, у которого, как он потом рассказал мне, оказался самый высокий индекс цитирования из всего, когда-либо им написанного. Вот оно:

Революционная альтернатива положению вещей сегодня — это не коллективизированная собственность, управляемая «государством рабочих», что бы ни означало это понятие, а некий род анархистской децентрализации, который раздробит массовое общество на небольшие сообщества, где индивиды смогут жить вместе в единстве разнообразия, а не как обезличенные слагаемые некоей суммы. Ограниченность и мелочность рузвельтовского «нового курса» и послевоенного лейбористского режима в Великобритании подтверждается отсутствием положительных перемен в любой из важнейших для человеческой жизни вещей — реальных взаимоотношений на работе, способов проведения досуга, воспитания детей, секса и искусства. Причина — массовый образ жизни, все подвергающий искажению, и государство, скрепляющее существующий порядок. Марксизм возвеличивает массы и одобряет государство. Анархизм возвращается к личности и общине, которая «нецелесообразна», но необходима. То есть революционна.

Явным образом несколько революций, к которым он стремился, уже изменили жизнь (хотя лишь частично). Возьмем в сущности внешний, но яркий и заметный, хотя и редко обсуждаемый пример: революцию в одежде во второй половине XX века. Пятьдесят лет назад классовую принадлежность мужчин, женщин и детей можно было определить по тому, как они одеты. Сегодня этот метод не работает, за исключением крошечного меньшинства, которое способно распознавать признаки дорогой и эксклюзивной одежды. Обычно это объясняется ростом массового производства и тем фактом, что торговля одеждой — самый простой путь в мировую экономику для развивающейся страны ввиду дешевизны рабочей силы. Но большее отношение к этому обстоятельству имеет освобождение от диктата общепринятой манеры одеваться, подготовленное на протяжении всего XX века радикальными нонконформистами, отвергавшими, моду.

Игнорирование правил ношения одежды, основанных на роде деятельности или принадлежности к социальному слою, было скромным и личным актом отпора обычаю.

Конечно, более значительную революцию, добивавшуюся; новых и новых побед на протяжении всего столетия, произвело женское движение, низвергнувшее общемировую

традицию мужского господства. Среди анархистских первопроходцев этого движения была Эмма Гольдман с ее острым памфлетом «Трагедия женской эмансипации», доказывающим, что всеобщее избирательное право, которого недостает для освобождения мужчин, вряд ли освободит женщин. Эмансипация, как она утверждала, должна исходить от самой женщины:

Во-первых, через утверждение ее как личности, а не как сексуального предмета потребления. Во-вторых, через отказ в праве кого бы то ни было на ее тело: через отказ рожать детей, если она их не хочет; через отказ быть слугой Бога, государства, мужа, семьи и т. д.; в общем, через все то, что делает ее жизнь легче, но глубже и богаче. Только попытка узнать значение и суть жизни во всей ее полноте послужит освобождению от страха перед общественным мнением и порицанием. Только это, а не избирательный бюллетень, сделает женщин свободными.

Это среди анархистов бытовала привычка заключать так называемый «свободный союз» как противоположность браку, санкционированному государством или церковью. Сейчас такие союзы распространены почти так же широко, как и законные браки, и они более не связаны с печатью бесчестия, накладываемой на детей незаконнорожденностью. Эта перемена, конечно, была ускорена фармакологической революцией в области противозачаточных таблеток.

Алекс Комфорт (1920 — 2000) был врачом, романистом, поэтом и анархистом. Его лекции на собраниях Лондонской анархистской группы в конце 1940-х годов легли в основу книги «Варварство и сексуальная свобода», опубликованной издательством Freedom Press в 1948 году, то есть во время, когда на такое не осмелилась бы ни одна «солидная фирма». Затем последовал труд «Сексуальное поведение в обществе» и его имевшие феноменальный успех пособия по сексуальной жизни. В своей книге «Больше радости» (1973) он дал анархистскую оценку связи сексуальности и политики. Он утверждал, что «получение знаний и установок, которые могут происходить из хорошего сексуального опыта, не способствует развитию эгоизма... Антисексуализм авторитарных обществ и людей, их возглавляющих, происходит не от убежденности в его греховности (так как они сами занимаются сексом), а от смутного предчувствия, что свобода в этой области может вызвать любовь к свободе где-нибудь еще. Люди, чей опыт эротизирован ими сами или миром, миролюбивы, но непримиримы в сопротивлении продажным политикам и расистам, угрожающим той личной свободе, которой они добились и которую хотят разделить с другими».

Комфорт надеялся, что его книги принесут утешение и освобождение и станут вкладом в еще одну революцию XX века — революцию во взаимоотношениях родителей и детей. Сегодня в Западной Европе трудно представить репрессивное поведение родителей по отношению к детям, которое еще век назад было общепринятым.

Это справедливо и для отношений между учителями и детьми. Рассказы людей, чей школьный возраст пришелся на первое десятилетие XX века, полны воспоминаний о физических наказаниях, которым они подвергались и которых постоянно боялись. В последнее десятилетие XX века в Англии телесные наказания в школах запрещены законом. Это решение не было принято спонтанно, но отразило влияние немногих «передовых» школ

на развитие педагогической мысли.

Многие наблюдатели утверждают, что школе не удалось удовлетворительно разрешить дилеммы, вставшие вследствие отказа от физических наказаний. Учитель лишен оружия, считавшегося крайней мерой воздействия. Это привело к росту числа исключаемых из школы детей, которых учителя отказываются держать в своих классах. Каждый, кто наблюдал, как один непослушный ученик может сделать невозможным обучение всей группы, не будет критиковать этих преподавателей (особенно с тех пор, как работодатели стали требовать, чтобы они не портили статистику).

В 1960 — 1970-х годах примечательная ситуация сложилась в нескольких городах Великобритании, а именно в Лондоне, Ливерпуле, Лидсе и Глазго. Группы энтузиастов находили заброшенные здания и открывали «свободные школы», чтобы давать неформальное образование как исключенным из школы, так и бросившим ее детям. (Одна из них, White Lion Free School в Лондоне, просуществовала с 1972 по 1990 год.) Режим в этих школах был основан на опыте прогрессивного школьного движения. Я спросил у ветеранки этих экспериментов, почему идея не была применена к новому поколению исключенных детей — уже в начале нового века. Она привела две причины: закон, проведенный в правление Тэтчер и сохраненный ее преемниками, требует придерживаться общенационального учебного плана; сложно найти помещение, удовлетворяющее нормам санитарии и безопасности, установленным для школ. Тем не менее едва ли возможно вообразить возвращение атмосферы страха, характерной для школ столетие назад. Тихая революция в образовании может двигаться только вперед.

Две другие перемены, произошедшие в Великобритании с 1960-х годов, тоже кажутся необратимыми. Одна из них — исчез страх перед уголовным преследованием за гомосексуализм. Начало было положено докладом комитета под председательством лорда Джона Вольфендена в 1957 году, но потребовались годы обсуждений и агитации, чтобы пробить это изменение в законодательстве. Другой важной переменной стала отмена в 1965 году смертной казни. В начале дискуссии по этому вопросу издатели-анархисты из Freedom Press подарили каждому члену парламента по экземпляру потрясающей книги Чарльза Даффа «Руководство для повешения: краткое введение в изящное искусство экзекуции» — написанного в энтузиастической манере учебника для палачей. Только совсем лишенный чувства юмора человек выразил бы недовольство тем, что участие в кампании по отмене варварских законов противоречит антипарламентским принципам анархистов.

Все социальные перемены в Великобритании, перечисленные мной, — свидетельство того, что небольшие успехи анархистов в направлении масштабных преобразований (которые, как они надеются, когда-нибудь осуществляются) способствуют долгому ряду маленьких освобождений, облегчающему ношу человеческих страданий.

Несколько анархистских групп стремились связать вместе эти освободительные усилия в осознанную кампанию. В Голландии члены молодежной анархистской группировки Provos («Бунтари») затевали игровые розыгрыши городской администрации, чтобы ее высмеять. Самое знаменитое предприятие: размещение в Амстердаме большого количества белых велосипедов для общественного пользования, имеющее целью продемонстрировать

ненужность автомобилей. За ними последовали Kabouter («Гномы»), предшественники движения зеленых. Один из них, Роэл ван Дайн, связывал анархизм и кибернетику — науку об управлении и системах коммуникации — опираясь на идеи одного из основателей последней, невролога Грэя Уолтера. Ван Дайн указывал:

«Мы не находим в мозге ни начальника, ни олигархического нервного узла или железы Большого Брата. Внутри наших голов сами наши жизни зависят от равенства возможностей, от специализации с многосторонностью, от свободной коммуникации и обоснованного ограничения, свободы без вмешательства извне. Здесь также местные меньшинства могут осуществлять контроль осуществляют его над своими средствами производства и выражения в свободных и равных отношениях с соседями».

Среди французов, попытавшихся заострить расплывчатые либертарианские устремления, были «ситуационисты», в особенности Рауль Ванейгем с его манифестом «Революция повседневной жизни». Питер Маршалл характеризует их идеи следующим образом:

«Ситуационисты видели выход не в ожидании далекой революции, а в переосмыслении повседневной жизни здесь и сейчас. Преобразовать восприятие мира и изменить структуру общества — одно и то же. Освобождая себя, ты одновременно изменяешь властные отношения и тем трансформируешь общество».

Ситуационисты, как и кабутеры, отметились в истории анархизма, а не в истории общественных преобразований, но Франция и Голландия, как и Великобритания, обязаны им за ряд скромных завоеваний цивилизации.

Затем тихая революция стала шумнее, ведь благодаря Интернету анархисты соединились с множеством антикапиталистических протестантов в серии масштабных демонстраций против закулисных действий глобальных организаций. Джордж Монбиот в своей книге пишет:

«В апреле 1998 года оборванная шайка протестантов нанесла первое из серии поражений коалиции мощнейших интересов на Земле. Двадцать девять богатейших наций соединили силы с крупнейшими мультинациональными корпорациями, чтобы написать «конституцию единой мировой экономики». Предложенное и составленное бизнесменами, втайне обсужденное правительствами, многостороннее соглашение об инвестировании, если бы оно последовало, предоставило бы корпорациям право возбуждать иски против той страны, чьи законы ограничивали ее возможность делать деньги. Как заявляли оппоненты, обозначилась угроза легализации захвата мира корпорациями».

Монбиот показывает, как в 1997 году утечка информации об этой скрытой угрозе привела к размещению в сети данных, позволявших устроить демонстрации протеста везде, где бы ни могли встретиться посредники правительств. Общественное давление и внутренние противоречия заставили мировых лидеров отозвать своих представителей, но только ради того, чтобы собрать их вновь уже под покровительством Всемирной торговой организации. Они встретились в Сиэтле в 1999 году, но переговоры потерпели неудачу, потому что десятки тысяч людей со всех концов мира протестовали за стенами зала заседаний в

защиту бедных стран и окружающей среды.

В цепочке демонстраций, начавшейся в Сиэтле, практики, апробированные голландскими «бунтарями» и «гномами», послужили тому, чтобы выставить на посмешище силы закона и порядка. Шон Шихан, делая обзор современного анархизма, описывает акцию в Праге, годом позже Сиэтла, где на демонстрации против Международного валютного фонда *«вышли небольшие армии протестантов, одетых как эльфы и вооруженных метелками из перьев, чтобы щекотать шеренги вооруженных и полностью экипированных полицейских. Во время таких протестов транспортные артерии блокируются не столько подожженными баррикадами и уличными боями, сколько гигантскими хитроумными штуковинами вроде «куклы освобождения», способной вызвать затор на любой магистрали».*

Но когда после пяти дней протестов конференция Всемирной торговой организации близилась к провалу, полиция ответила. Как сообщает Шихан:

«То, что размах и организация протестов напугали полицию, привели ее в бешенство и побудили к вопиюще незаконным действиям, подтверждается тем фактом, что из 631 арестованного только четырнадцать в конце концов предстали перед судом».

Начавшиеся мягко и с юмором, большие интернациональные демонстрации в оппозицию мировому капитализму уже перестали быть тихими революциями. Можно подумать, что достигнуто соглашение полиций разных стран об эскалации насилия при отпоре демонстрантам. Шон Шихан пишет:

«Сначала „стандартное“ полицейское насилие в Сиэтле, потом снаряжение полицейских боевыми патронами и трое застреленных в июне 2001 года в Готенбурге. Когда еще один антикапиталистический протест был организован в июле в Генуе, события вылились в яростное восстание, запомнившееся броневиками, врезавшимися в толпы протестующих, и предпринятым полицией безжалостным ночным штурмом здания, где разместились медиа-активисты со своими материалами».

В Генуе был убит молодой анархист, и его смерть вызвала возобновление дискуссии о стратегиях протеста. Может быть, найдутся не столь грубые способы подрыва мирового капитализма? Тихие революционеры, изменившие в XX веке культуру западных стран, их еще не открыли.

Глава 9

Программа федерализма

Часто встречается следующее возражение против анархизма: эта идеология подошла бы миру изолированных деревень, достаточно маленьких, чтобы быть самоуправляющимися организациями, но никак не всемирному многонациональному обществу, существующему в реальности. Но у многих анархистских мыслителей прошлого — Прудона, Бакунина и Кропоткина — была и федералистская программа, предвещавшая современные дискуссии о

Европейском Союзе.

Те немногочисленные дети, кто получил возможность изучать историю Европы наравне с историей своей страны, знали, что в XIX веке было два великих события: объединение Германии Бисмарком и императором Вильгельмом I и объединение Италии Кавуром, Мадзини, Гарибальди и Виктором Эммануилом II. Эти победы были одобрены всем миром (под которым в те дни подразумевалась Европа), так как Германия и Италия преодолели болезненную слабость мелких княжеств, республик, папских областей и городов-государств, чтобы стать национальными государствами, империями и, конечно, завоевателями.

Они пошли по пути Франции, чьих мелких местных деспотов окончательно заставили покориться силе сначала Людовик XIV с его величественным лозунгом Государство — это я», а затем Наполеон, наследник Великой революции, создавший административную машину террора, чтобы удостовериться (как и Сталин в XX веке), в правильности лозунга. Или Германия и Италия уподобились Англии, чьи короли (и единственный республиканский правитель — Оливер Кромвель) завоевали валлийцев, шотландцев и ирландцев и стремились господствовать в мире за пределами Европы. То же самое происходило и на другом конце Европы. Иван IV, не случайно прозванный Грозным, завоевал Азию до Тихого океана, а Петр I, известный как Великий, воспользовавшись изученными им во Франции и Англии технологиями, захватил Прибалтику, большую часть Польши и Западную Украину (Что ж, таково знание автором истории России — примеч. ред.).

Прогрессивное общественное мнение во всей Европе радушно приняло Германию и Италию в джентльменский клуб национальных и имперских держав. В итоге ужасающие события XX века: завоевания, опустошение, взаимное истребление молодых мужчин в двух мировых войнах, восхождение к власти популистских демагогов, таких как Гитлер и Муссолини, равно как и их бесчисленных подражателей, твердящих: «Государство — это я». Заметьте, мы знаем не много политиков, согласных с доводами в пользу демонтажа государств, зато мы в каждом политическом движении достаточно разглагольствующих об объединении Европы: экономическом, социальном, административном или, естественно, политическом.

Не приходится и говорить, что при унификации, продвигаемой политиками, множество руководителей в Брюсселе заняты выпуском директив о том, какие сорта овощей выращивать или каков может быть состав мороженого, продаваемого в магазинах страны — члена Евросоюза. Газеты радостно пересказывают нам эти пустяки. Но гораздо меньше внимания пресса уделяет другому, скрытому течению паневропейских убеждений, произошедшему от взглядов, высказанных в Страсбурге людьми разных политических оттенков, которые провозгласили существование «Европы регионов» и осмеливающихся доказывать, что национальное государство с XVI по XIX столетие суть феномен, у которого нет полезного будущего в XXI веке. Будущая система управления в объединенной Европе, которую они стараются разработать, представляет собой соединение, скажем, Калабрии, Уэльса, Андалусии, Аквитании, Галиции и Саксонии как областей, стремящихся к сохранению регионального своеобразия в экономике и культуре, которое во многом было утеряно при их включении в национальные государства, где они стали провинциями.

В великой националистической волне XIX века было немного пророческих голосов, излагающих особое мнение и предлагавших альтернативу в виде федерализма. Интересно, что среди тех, чьи имена не были преданы забвению, три самых известных анархистских мыслителя этого столетия. Левые политики в процессе своего развития в XX веке отказались от их наследия как неуместного. Но сейчас им приходится туго, поскольку дискуссионную трибуну оккупировали правые политики, имеющие свою собственную программу, противостоящую и федерализму, и регионализму.

Первым среди предтеч анархистов был Прудон, посвятивший две своих книги идее федерации как противоположности национальному государству. Ими были «Федерация и единая Италия» (1862) и «Федеративный принцип» (1863). Прудон был французом, гражданином единого, централизованного национального государства, которому не очень импонировали его взгляды, так что пришлось эмигрировать в Бельгию. Централизации Италии он боялся понескольким причинам. В своей книге «О справедливости» в 1858 году он предсказывал, что создание Германской империи принесет только проблемы и Европе, и самой Германии, и распространял эту аргументацию и на политическую историю Италии.

Прудон считал, что природные факторы, такие как геология и климат, формируют местные обычаи и установки. Италия, заявлял он, имеет *«характер федеративный по строению территории; по несхожести ее жителей; по природе ее Духа; по ее нравам; по ее истории. Она федеративна во всем ее существе и была такой с незапамятных времен... И с помощью федерации вы сделаете ее во много раз свободнее, чем если обеспечите независимость ее государств.»*

Но для Италии тем более неестественно становиться единым национальным государством. Прудон знал, что Кавур и Наполеон III договорились создать федеративную Италию, знал он также и то, что опираются они на тщеславного князька из Савойского дома, который не согласится ни на что меньшее, чем централизованная конституционная монархия. Кроме того, он глубоко сомневался в либеральном антиклерикализме Мадзини не из-за какой-то любви последнего к папству, а потому что лозунг Dio e popolo («Бог и народ») Мадзини способен использовать любой демагог, который может захватить аппарат централизованного государства. Прудон видел, что существование административной машины представляет безусловную угрозу личной свободе и свободе регионов. Прудон был почти единственным среди политических теоретиков XIX века, ощущавшим: *«либеральное орудие в руках либерального правительства, завтра оно станет могучим инструментом узурпации. Это бесконечное искушение для исполнительной власти, вечная угроза свободе людей. Не верно говорить, что личность или коллектив могут быть уверены в своем будущем. Централизация затем может обернуться разоружением нации ради пользы ее правительства».*

Все, что мы знаем об истории Европы, Азии, Латинской Америки и Африки в XX веке подкрепляет такое суждение. Даже североамериканский федерализм, так трепетно разработанный Томасом Джефферсоном и его товарищами, не гарантирует от этой угрозы. Один из английских биографов Прудона, Эдвард Хайамс, комментирует:

Вторая мировая война сделала очевидным, что президенты Соединенных Штатов могут пользоваться и пользуются федеральной административной машиной, в известном смысле насмехаясь над демократией.

А канадский переводчик Прудона Ричард Верной пересказал мнение анархиста таким образом:

«Если спрашивать мнения у людских масс, услышишь глупый, озадачивающий или жестокий ответ. Если расспрашивать людей как членов определенных групп, сплоченных и самобытных, их ответы будут ответственными и разумными. Научите их политическому «языку» массовой демократии, представляющему «народ» как единый и неделимый, а представителей меньшинства как предателей, и они породят тиранию; научите их политическому языку федерализма, на котором люди описываются как единство разнообразия реальных объединений — и они будут сопротивляться тирании до последнего».

Это замечание обнаруживает глубокое понимание политической психологии. Прудон опирался в своих выводах на опыт эволюции Швейцарской Конфедерации, но в Европе есть другие примеры таких особенных областей. Своей нестрогой и снисходительной карательной политикой славилась Голландия. Официальное объяснение этому — замена в 1886 году Кодекса Наполеона «подлинно голландским уголовным кодексом», воспринявшим культурные традиции, такие как «известная голландская „толерантность» и привычка прислушиваться к меньшинствам, порывающим с теми или иными нормами». Я процитирую датского криминолога доктора Виллема де Хаана, ссылающегося на то, что голландское общество «традиционно было основано скорее на религиозных, политических и идеологических, чем на классовых связях. Влиятельные конфессиональные группы создавали собственные социальные институты во всех основных сферах общества. Этот процесс... послужил причиной превращения прагматической, терпимой общей остановки в абсолютную общественную необходимость».

Другими словами, многообразие, а не единство создает род общества, в котором вы и я можем жить с наибольшим комфортом. И идеологические принципы современного нидерландского общества уходят корнями к разнообразию непохожих друг на друга средневековых городов-государств Голландии и Зеландии, демонстрируя, что желаемое будущее для всей Европы состоит в согласовании местных различий.

Дискуссии об объединении Европы в 1860-х годах вызвали скептическую реакцию у Прудона:

«Среди французских демократов много разговоров о Европейской Конфедерации или о Соединенных Штатах Европы. Как это они представляют, непонятно, но союз всех государств, в настоящее время существующих в Европе, больших и малых, сделан главной темой непрекращающихся дебатов. [...] Если государства будут иметь количество голосов в конгрессе, пропорциональное их населению и территории, маленькие государства вскоре будут включены в большие...»

О поглощении соседних стран сейчас говорить не модно, но мы можем разглядеть опасения Прудона в словах тех критиков, которые указывают, что в выработке и принятии решений в Европейском сообществе большие страны доминируют над его меньшими государствами-членами.

Второй мой наставник, Михаил Бакунин, почти единственным среди политических мыслителей XIX века предвидел ужасы столкновения национальных государств в Первую и Вторую мировые войны, также как и предсказывал последствия проникновения марксизма в Российскую империю. В 1867 году Пруссия и Франция балансировали на грани войны за контроль над Люксембургом, и это «грозило засосать всю Европу». Лига за мир и свободу созывала в Женеве свой конгресс, поддержанный выдающимися людьми разных стран, такими как Джузеппе Гарибальди, Виктор Гюго и Джон Стюарт Милль. Бакунин воспользовался возможностью обратиться к этой аудитории и опубликовал свои убеждения под заглавием «Федерализм, социализм и антитеологизм». Этот документ включал тринадцать пунктов, по которым, согласно Бакунину, Женевский Конгресс был единогласным.

Первый из этих пунктов гласил:

«Чтобы свобода, справедливость и мир восторжествовали в международных отношениях Европы, для того, чтобы сделать невозможной гражданскую войну между различными народами, составляющими европейскую семью, есть только одно средство: образование Соединенных Штатов Европы».

Во втором пункте доказывалось, что эта цель предполагает замещение государств регионами, относительно чего Бакунин отмечал: «Штаты Европы не могут быть образованы из государств в том виде, в каком они сложились сейчас, по причине чудовищного неравенства их сил».

В четвертом пункте заявлялось:

«Ни одно централизованное, бюрократическое и тем самым военное государство, называясь оно даже республикой, не сможет серьезным и искренним образом войти в интернациональную конфедерацию. По своей конституции, которая всегда будет открытым или замаскированным отрицанием свободы внутри, оно неизбежно будет постоянным призывом к войне, угрозой существованию соседних стран».

Как следствие, его пятый пункт требует:

«...все приверженцы Лиги должны... направлять все свои усилия к переустройству своих отечеств, дабы заменить старую организацию, основанную сверху донизу на насилии и авторитарном принципе, новой организацией, не имеющей иного основания, кроме интересов, потребностей и естественных влечений населения, ни иного принципа, помимо свободной федерации индивидов в коммуны, коммун в провинции, провинций в нации, наконец, этих последних в Соединенные Штаты сперва Европы, а затем всего мира».

Перспектива, таким образом, становилась все больше и больше, но Бакунин позаботился о том, чтобы включить признание отделения. Его восьмой пункт гласил:

«Если страна вошла в состав какого-либо государства, даже если она присоединилась добровольно, отсюда никак не следует, что она обязана оставаться в его составе всегда. Никакое вечное обязательство не может быть допущено человеческой справедливостью, единственной, с которой мы считаемся, и мы никогда не признаем иных прав или иных обязанностей, кроме тех, которые основаны на свободе. Право свободного присоединения, и равно свободного отделения, есть первое и самое важное из всех политических прав, без которого конфедерация всегда будет лишь замаскированной централизацией».

Бакунин с восхищением ссылался на Швейцарскую Конфедерацию, «столь успешно осуществленную на практике федерацию», как он ее назвал. Прудон тоже явно брал за образец швейцарское верховенство коммун как единиц социальной организации, соединенных в кантоны с Федеральным советом, выполняющим чисто административные функции. Но оба помнили о событиях 1848 года, когда семь отколовшихся кантонов, чей союз принял название Зондербунд, были войной принуждены принять конституцию большинства. Прудон и Бакунин единодушно осуждали унижение федерализма унитарным принципом. Право отделения должно быть сохранено.

Именно благодаря своей децентрализованной структуре Швейцария стала убежищем для многочисленных политических эмигрантов из Австро-Венгерской, Германской и Российской империй. Но один российский анархист был изгнан даже из Швейцарии — даже ее Федеральный совет был не настолько терпим. Это Петр Кропоткин, чьи идеи соединили федерализм XIX века с региональной географией XX века.

Молодость Кропоткин провел в качестве армейского офицера в геологических экспедициях в дальневосточных областях России. Автобиография передает то возмущение, которое он испытывал, наблюдая, как централизованное управление и финансирование приводило к крушению любую попытку улучшения местных условий: из-за невнимания, некомпетентности, повсеместной коррупции и разрушения древних общинных институтов, которые могли дать людям возможность изменить свою собственную жизнь. Богатые богатеют, бедные беднеют, администрация бездеятельна и воровата. В каждой империи или национальном государстве есть литература такого рода.

В 1872 году Кропоткин впервые посетил Европу и в Швейцарии был опьянен воздухом демократии даже в ее буржуазном варианте. В холмах Юры он гостил у часовщиков из общества независимых ремесленников. Биограф Мартин Миллер описывает его впечатления:

«Встречи и беседы Кропоткина с рабочими об их занятиях открыли ему глаза на тот род стихийной свободы, о котором он даже не мечтал. Независимые и самостоятельные юрские часовщики впечатлили Кропоткина примером того, как могло измениться общество, если бы такая коммунальная модель получила возможность распространения в большом масштабе».

Пребывание в Юре оказалось поворотным пунктом для Кропоткина. Вся его последующая жизнь в известной степени была посвящена обоснованию анархизма, федерализма и регионализма.

Подход Кропоткина представляет интерес не только для истории. В работе «Русский федералист Петр Кропоткин» (1922) итальянский анархист Камилло Бернери цитировал «Послание к рабочим Западной Европы», которое Кропоткин вручил Маргарет Бондфилд, представителю Лейбористской партии Великобритании в июне 1920 года. В нем он заявлял:

«Имперская Россия мертва и никогда не воскреснет. Будущее различных областей, из которых состоит империя, в становлении огромной федерации. Естественные территории различных частей этой федерации совершенно не отличаются от тех, о которых мы знаем из истории России, ее этнографической и экономической жизни. Все попытки свести вместе составляющие части Российской империи — такие как Финляндия, балтийские провинции, Литва, Украина, Грузия, Армения, Сибирь и др. — под единой центральной властью обречены на неудачу. Будущее того, что было Российской империей, устремляется к федерации независимых образований».

Сегодня мы видим актуальность этого убеждения, игнорировавшегося семьдесят последних лет. Будучи в Западной Европе эмигрантом, Кропоткин тесно общался с некоторыми первопроходцами регионализма, взаимосвязь которого с анархизмом была красноречиво описана географом Питером Холлом, директором Института городского и регионального развития в Беркли (Калифорния), в книге «Города будущего» (1988). Товарищ Кропоткина по анархизму, географ Элизе Реклю приводил доводы в пользу того, что мелкомасштабные человеческие общества базировались на экологии их регионов. Поль Видаль де ла Блаш, другой основатель французской географии, доказывал, что «регион является чем то большим, нежели объектом землемерной съемки; он предоставляет основу для полной перестройки социальной и политической жизни». Для Видяля, как объясняет профессор Холл, регион, а не государство, «был движущей силой человеческого развития; почти чувственным взаимодействием между мужчинами, женщинами и окружающей средой; основанием мыслимой свободы и ходовой пружины культурной эволюции, подрываемым и ослабляемым централизованным национальным государством и крупномасштабным машинным производством».

В конце концов замечательный шотландский биолог Патрик Геддес пытался свести все эти регионалистские идеи — географические, социальные, исторические, политические и экономические — в связную идеологию, известную по работам его последователя Льюиса Мамфорда.

Профессор Холл указывает, что:

«многие, хотя отнюдь не все, представления землеустроительного движения возникли из анархизма, процветавшего в последние десятилетия девятнадцатого века и первые годы двадцатого... Мечта его первопроходцев была не просто о другой форме устройства, а об альтернативном — ни капиталистическом, ни бюрократически-социалистическом — обществе, которое бы базировалось на добровольном сотрудничестве мужчин и женщин,

работающих и живущих в маленьких самоуправляющихся сообществах».

Анархистские мыслители XIX века заблаговременно предостерегали народы Европы о последствиях отказа от регионалистского и федералистского подходов. После любой катастрофы правители национальных государств Европы обращались к строительству разного рода наднациональных организаций. Перед ними стоял ключевой вопрос: представлять ли Европу государств или Европу регионов?

В правовой сфере сторонники объединенной Европы разработали доктрину «субсидиарности», согласно которому «осуществление государственных полномочий, как правило, должно преимущественно возлагаться на органы власти, наиболее близкие к гражданам. Предоставление каких-либо из этих полномочий иному органу власти должно производиться с учетом объема и природы поставленной задачи, а также требований эффективности и экономии» («Европейская хартия местного самоуправления», принятая Советом Европы).

Такое настоятельное пожелание — дань Прудону, Бакунину и Кропоткину и идеям, которые они отстаивали едва ли не против всего мира (можно вспомнить еще некоторых интересных испанских мыслителей, таких как Пи-и-Маргаль или Хоакин Коста). Конечно, это один из тех аспектов панъевропейского мировоззрения, которыми национальные правительства хотели бы пренебречь в первую очередь, хотя в этом отношении очевидны значительные различия между отдельными национальными государствами.

Во многих странах, например Германии, Италии, Испании и даже Франции, на более низкий уровень отдано гораздо больше полномочий правительственного аппарата, чем это было пятьдесят лет назад. Это также верно для бывшего Советского Союза.

Анархистский мыслитель из Голландии, Том Холтерман, впрочем, видит для региональной Европы препятствие именно в существовании национальных государств. Другое его предостережение: так как обдумывание и планирование будущего Европы находится в руках правительственных бюрократов, они все готовятся к Европе бюрократов.

Кропоткин любил указывать на институт спасательных шлюпок как на пример того рода добровольных и ненасильственных организаций, задуманных анархистами, которые могут приносить пользу во всем мире без принципа вмешательства властей. Два других примера, каким образом локальные группы и общества могут объединиться, чтобы обеспечить сложную функциональную сеть без какой-либо центральной власти, — это почта и железная дорога. Вы можете послать письмо в Чили или Китай, будучи уверены в том, что оно будет получено в результате действия соглашений о свободном обмене корреспонденцией между различными национальными почтами без существования какого-либо центра всемирной почтовой власти. Или вы можете путешествовать по Европе и Азии по линиям дюжины железнодорожных сетей, государственных и частных, над которыми нет никакой общей центральной железнодорожной власти. Координация не нуждается ни в единообразии, ни в бюрократии.

Глава 10

Зеленые надежды и анархистское будущее

Когда в 1899 году вышла книга «Поля, фабрики и мастерские» Кропоткина, предшественники «зеленого движения» нашли его идеи вдохновляющими; с тех пор авторы-экологи подчеркивают продуктивность мелкомасштабной децентрализованной промышленности и «садоводческого» подхода в производстве продуктов питания. Когда в конце Первой мировой войны работа была переиздана, в предисловии было сказано:

«Она призывает к началу сбережения энергии, используемой для удовлетворения нужд жизни людей, поскольку потребности возрастают, а энергия не является неисчерпаемой».

В те дни это было редкое осознание пределов возможности роста. Сегодня мы имеем обширную литературу по проблемам истощения ресурсов и ущерба окружающей среде. Трудность для защитников природы, пытающихся заручиться поддержкой граждан, представляет расстановка приоритетов: какая кампания, наиболее срочно нуждается в руке помощи? Капитализм странствует по земному шару в поисках рабочего рынка и окружающей среды, наименее защищенных в правовом отношении, чтобы поощрять и завоевывать непрерывно растущий рынок для своих товаров. Этот процесс он описывает как «суверенитет потребителя» и таким образом ускользает от ответственности за эксплуатацию бедных людей и слабых экономик. Чем мы богаче, тем более склонны сбрасывать со счетов нашу долю этой ответственности.

Уже давно в развитых экономических системах оформился ряд движений и начались кампании, характеризующиеся как «защищающие среду обитания», «сохраняющие природные ресурсы», «зеленые» или «экологические». Они направляют наше внимание на кризис окружающей среды, глобальное потепление и истощение ограниченных ресурсов. Критика этих кампаний в богатом мире упирает на то, что они не всегда принимают в учет положения в бедных странах. Лауреат Нобелевской премии по экономике Амартия Сен говорил о парадоксе, что «в бедном мире бедные худые, а богатые толстые. В богатом мире богатые стройные, а бедные полные». Он автор знаменитого исследования о том, кто ест и кто голодает и что они едят, автор теории «привилегий приобретения», определяющих тот ряд «альтернативных товарных пакетов, которыми индивид может располагать». Его наблюдение служит напоминанием о том, что в каждом обществе есть несколько одновременно существующих культур питания, в конечном счете обусловленных уровнями нужды или достатка. В третьем мире сильные и богатые и их военные элиты живут превосходно, в то время как бедные худы и иногда умирают с голоду. В богатом мире; бедное меньшинство живет на суррогатах (то есть на пище, богатой калориями, но имеющей низкую пищевую ценность), к которым обеспеченные люди могут позволить себе относиться с презрением. В Великобритании число детей, выросших в нужде, между 1968 и 1998 годами утроилось.

Любое обсуждение вопросов, касающихся окружающей среды, должно начинаться; с факта плохого питания в мире достатка и переходить к высокой цене «дешевой» еды. Аргументация Кропоткина защищала утверждение, что густонаселенная страна небольшой площади, вроде Англии, может прокормить себя со своей собственной земли. Многим такой вывод кажется абсурдным, однако он опирался на европейский опыт. Уже в следующем веке я имел удовольствие встретиться с Джеком Смитом, президентом Городской сельскохозяйственной сети и соавтором доклада Организации Объединенных Наций «Городское сельское хозяйство: продовольствие, работа и города с устойчивым развитием», который рассказал, что в китайских городах 90% овощей выращиваются в определенных, отведенных для этого местах, а Гонконг, самый плотнонаселенный среди городов-миллионников в мире, производит в своих границах две трети мяса птицы, шестую часть свинины и почти половину овощей, потребляемых его гражданами и приезжими.

Самые известные примеры интенсивного производства продуктов питания предоставляют нам города Юго-Восточной Азии. Знаменит своими полутора тысячами гектаров «агротехнологических парков» Сингапур. Как указывает пропагандист этого опыта Джефф Уилсон, *«логика не позволяет пренебречь тем фактом, что если деревенскому сельскому хозяйству может потребоваться до восьми энергетических единиц ископаемого топлива, чтобы произвести одну энергетическую единицу еды, поступающей в супермаркет, то городское сельское хозяйство может произвести до восьми энергетических единиц пищи на каждую энергетическую единицу ископаемого топлива».*

Тим Лэнг, профессор продовольственной политики, много лет интересующийся этой проблематикой, напоминает нам, что

«система дистрибуции супермаркетов полностью зависит от дешевой энергии. Далеко не столь удобные, как это кажется, гипермаркеты на самом деле заставляют нас совершать больше, а не меньше, походов по магазинам: среднее количество увеличилось на 28 процентов между 1978 и 1991 годами. Покупатели, кроме того, вынуждены отправляться дальше: длина поездки с 1978 по 1991 год выросла на 60 процентов между... Общим фактором всех этих процессов является использование продуктами ритейлерами централизованных систем распределения. Каждая фирма имеет собственные региональные дистрибуторские центры. Продовольственные товары сначала поступают в них и уже оттуда в магазины. В результате еда проделывает гораздо больший путь...»

Это больше известно как «вопрос еды на многие мили». Эта система распространяется все шире в результате политики гигантских сетевых ритейлеров, ищущих по земному шару самых дешевых поставщиков. В ближайшем ко мне городе Восточной Англии я могу купить мексиканскую морковь, австралийский лук, африканские груши и перуанскую спаржу. Этот факт намного больше способствует глобальному потеплению, чем мое небрежное обращение с электричеством. Профессор Джон Хоуфтон, председатель Королевской комиссии по загрязнению окружающей среды и Консультативной группы Организации Объединенных Наций по изменениям климата; видит нечто абсурдное в том, что на ланч ест вкусный молодой картофель. Он был доставлен в местный гипермаркет сорокатынтовым грузовиком, а в Великобританию прибыл на реактивном самолете. Профессор замечает: «А ведь я мог вырастить его в собственном саду за домом».

Это замечание важно, потому что оно демонстрирует бездну между нашими «зелеными» убеждениями и действительным поведением. В исследовании этого разрыва заметную роль сыграл американский анархист Мюррей Букчин. Он, как и Рейчел Карсон, вел пропаганду проблем окружающей среды еще в 1950-е и 1960-е годы, что позволяет считать его предтечей зарождавшегося «зеленого движения». Он связал экологические вопросы с американской анархистской традицией.

«Мы пытаемся, — объяснял он, — возродить определенные аспекты американской мечты. Есть, конечно, несколько ее вариантов, например, традиция Джона Уэйна — ковбойская и пионерская романтика Дикого Запада — или американская мечта иммигрантов, которым грезилась страна безграничных возможностей, где улицы вымощены золотом. Но есть и третья американская мечта, самая старая из всех, восходящая к пуританским временам, которая делает ударение на общине, децентрализации, самостоятельности, взаимопомощь и непосредственной демократии».

Здесь Букчин вступил в конфликт с еще одной американской мечтой. Когда экологическое сознание распространилось среди отпрысков представителей высших классов, чувство вины за геноцид туземных народов привело к возвеличиванию «благородного дикаря» и вызвало неприязнь к простым смертным, не служившим «Миссии». «Глубинная экология» стала модной среди тех, кто был достаточно богат, чтобы «все бросить» и идти вслед за мистической верой, пока их чеки оплачивались- банкнотами. Многие из сограждан Букчина обратились от интереса к социальным проблемам к сентиментальной и снобистской идеализации «девственной природы» и естественной среды обитания, закономерно превратившись в мизантропов.

Решительным отказом от этих подходов Букчин пытался противостоять устранению сограждан от участия в решении социальных проблем во все более раскалывающейся Америки, вновь и вновь поднимая тему «социальной экологии» и рассчитывая, как он говорил, бросить «серьезный вызов обществу с его раздутым, иерархическим, сексистским, управляемым классами государственным аппаратом и милитаристской историей».

Большинство анархистов считают доказанным, что экологически жизнеспособное общество невозможно при капитализме с его зависимостью от непрерывного расширения рынков, достигаемого с помощью изобретения потребностей и запланированного устаревания потребительских товаров. Вместе с тем большинство из нас ощущает, что для поиска более экологически жизнеспособного образа жизни не стоит ждать гибели капиталистической системы. Движение «зеленых» просуществовало достаточно долго для того, чтобы его приверженцы разобрались, какие решения представляют для них наибольшую ценность.

В 1970-х годах мне повезло участвовать в новом журнале для преподавателей и студентов под названием «Бюллетень экологического образования». Один из наиболее увлеченных наставников, Питер Харпер, в 1975 году приехавший в Уэльс в составе группы энтузиастов, основавших Центр альтернативной технологии в Махинлете в старом карьере посреди унылого индустриального пейзажа. К концу века это предприятие (действующее как рабочий кооператив с 28 членами) ежегодно посещали почти 80000 человек каждый год, в том числе 20000 детей: оно приобрело всемирную известность как выставочная площадка

экологически безвредных энергоустановок, технологий строительства и утилизации бытовых отходов. Мне рассказали, что кооператив покрывает 90% собственных энергетических потребностей за счет возобновляемых энергоресурсов: солнца, ветра и воды.

Поскольку Харпер располагает огромным практическим опытом в этой области, я принимаю его выводы всерьез. А он сказал в интервью в 1998 году:

«Маниакальное стремление к автономности и к пропаганде принципа «чем меньше, тем лучше» отступила. Не старайтесь всё сделать сами. Начните там, где вы сильны, а не там, где вы слабы... Не пытайтесь выработать свою энергию — пытайтесь ее сохранить. Львиная доля работы предстоит в городах, где останется жить большинство людей и где — вопреки прежним идиллическим представлениям — экологически рациональный современный образ жизни легче достигим».

Общественные сады как их представлял Клиффорд Харпер

Постоянное зондирование экологического сознания натолкнуло его на мысль о другой классификации участников движения. Вместо «глубинных» и «социальных» экологистов Питер Харпер предпочитает говорить о «светло-зеленых» (у которых легче с деньгами, чем со временем) и «темно-зеленых» (может быть, в большей степени располагающих временем, нежели деньгами). «Светло-зеленые», как он утверждает, увлекаются новыми технологиями солнечного отопления, экономичными легкими автомобилями и рациональным потреблением, в то время как «темно-зеленые» уповают на небольшие коттеджи, велосипеды, общественный транспорт, продукты со своего участка, ремонт вещей, переработку отходов, местные платежные системы и прямой товарообмен».

А пока все остальное общество разделяет культуру ДАВАЙ ЕЩЕ! Как замечает Харпер, *«люди стремятся к большему уюту и комфорту, к большему личному пространству, к большей мобильности и наслаждаются чувством растущих возможностей. Это современный потребительский проект, разделяемый всеми современными обществами. Главная черта политического и экономического мейнстрима в том, что потребительские стремления никогда всерьез не ставились под сомнение. Наоборот, подразумеваемое официальное послание звучит так: «Мы хотим производить». Главный же лозунг груб и прост: ДАВАЙ ЕЩЕ!»*

Некоторые из нас, заметил Литер Харпер в своей шумахеровской лекции в Бристолле, в 2001 году, представляют себе апокалипсические образы неуправляемых катастроф будущего, которые нас ожидают из-за неразборчивой экономической деятельности. Как оптимист, опирающийся на свой опыт защитника окружающей среды, он ожидает другого исхода и полагает, что, когда жизнь для всех и каждого понемногу будет становиться хуже, «темно-зеленые» (люди, которых он называет «рецессивными генами» движения за экологическую рациональность) решат то, что он назвал великой загадкой примирения современности и жизнеспособности:

«Для них — устроенных, ведущих жизнь разнообразную и менее подверженную стрессам, здоровых и в хорошей физической форме, открывших заново элементарные достоинства самообладания и равновесия — явно наступят хорошие времена».

Двадцать пять лет предложения экологически безопасных вариантов согражданам, приходившим в Центр альтернативной технологии по разным причинам, побудили Питера Харпера избрать более мягкий подход к задаче убеждения всех и каждого в том, что наш образ жизни должен поменяться. Мюррей Букчин, возможно, сейчас бы отреагировал по-другому, но гораздо раньше он уже спрашивал о том, можем ли мы представить, чтобы экологически жизнеспособная экономика опиралась на централизованное национальное государство и его бюрократический аппарат? Букчин убеждал в том, что с точки зрения жизнеспособности планеты и всех живущих на ней существ, анархистские концепции не просто желаемы, а даже необходимы:

«То, что некогда расценивалось как невозможное и иллюзорное, сейчас стало в высшей степени реальным... Общество прямой демократии, гуманистической, освобождающей технологии и децентрализации выглядит просто ответной реакцией на существующее положение дел — решительное «нет» на то «да», которое есть сегодня, — непреодолимые объективные обстоятельства могут реализовать на практике анархистского общества».

Экологические проблемы и вопросы окружающей среды пропагандировались достаточно долго, чтобы мы стали замечать пики и спады поддержки, получаемой от основной массы населения, чье участие жизненно важно для реформаторов. На кризисное сознание есть мода, как и на иные аспекты нашей общественной жизни. Анархистов утешает мысль о том, что общество уже достаточно развито, чтобы принять императивы окружающей среды. Люди XXI века будут вынуждены открыть анархизм заново, чтобы следовать его путем.

В конце концов, можно вспомнить, что такие авторы, как Мюррей Букчин и Алан Картер, говорили о том, что анархизм является единственной политической идеологией, способной включить проблемы, поставленные нашим новым «зеленым» сознанием, в ряд общепризнанных политических идей. Анархизм становится все более и более соответствующим новому веку.

Версия #1

Зверобой создал 11 апреля 2025 00:08:37

Зверобой обновил 11 апреля 2025 00:21:12